

ЮЗЕФ ИГНАЦЫ
КРАШЕВСКИЙ



Юзеф Игнаций Крашевский

Гетманские грехи

Крашевский Ю.

Гетманские грехи / Ю. Крашевский —

Польский писатель Юзеф Игнацы Крашевский (1812 – 1887) известен как крупный, талантливый исторический романист, предтеча и наставник польского реализма.

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	44
-----------------------------------	----

Гетманские грехи

Иосиф Игнатий Крашевский

Был июньский вечер, лучшая пора года, когда не начиналась еще летняя жара, и уже окончилась весенняя распутица и бури. Вся земля была покрыта зеленью, потому что рожь еще не начала колоситься, и нескошенные поля пестрели тысячами разноцветных звездочек и благоухали юностью; так чудесно было жить, дышать, расти и забывать обо всем, что есть дурного на свете! Был июньский вечер, тихий, спокойный и мечтательно-задумчивый; солнце заходило в царственном величии, довольное своими подданными, с ясным челом; высоко в небе вились ласточки, и весело кружились в воздухе рои мошек. На Подлесской равнине, среди лесов и полянок, виднелись маленькая деревенька и хутор. Деревенька эта, отгороженная от всего мира высоким бором, лепилась к своему хутору, обсаженному вербами и ольхами, окружая его со всех сторон, и так ей было спокойно и хорошо, как у Христа за пазухой.

Поместье это было не из видных – хат немного, деревянная церковка на холме; да и хутор с соломенной крышей, с убогими хозяйственными пристройками, выглядел неказисто.

Поблизости от деревеньки не было видно проезжей дороги, к усадьбе вела капризно извивавшаяся и круто заворачивавшая дорожка, которая пропадала где-то в зарослях. На холме, пониже церкви, раскинулось деревенское кладбище. Над низенькими хатками возвышалось несколько журавлей от колодцев, да несколько старых груш и сосен.

В этой картине было что-то печальное и привлекательное в то же время: привлекательное прелестью деревенской тишины, под сенью которой угадывалась спокойно, без изменений и потрясений, текущая жизнь.

Ничто не проникало сюда в течение многих веков из веяний вечно меняющего свои формы мира. Прошли целые столетия с тех пор, как из земли выросла эта хата и приросла к ней; изъеденные старостью, они снова и снова обновлялись по старому обычаю и продолжали свое существование.

Внучка была похожа на прабабушек. Подгнившие кресты, сваленные бурей, делались заново, но по старому образцу; у корней засохшего дерева разрастались новые молодые побеги; также и люди сменялись одно поколение другим, но их лица, язык и обычаи оставались прежними.

Усадьба была обращена одной стороной к господскому двору, а другой к старому саду с липами на переднем плане, грушами в глубине и клумбами посредине. Здесь ни в чем не было заметно желания позаботиться о красивой внешности. Сад заканчивался огородом, а во дворе был устроен водопой и сарай, где стояли возы и лежали груды бревен.

Бедность не позволяла думать о приманках для глаз, о приятности для людей.

Однако, вдоль всего фасада дома, на грядке, отгороженной старательно сплетенным плетнем, виднелись заботливо взращенные цветы, почти заслонявшие низкие окна дома. И только по этим цветам можно было догадаться о присутствии в доме женского существа, которому нужна была весна с ее улыбками и благоуханием.

Во дворе стояла необычная для этого времени дня тишина, хотя вечерние занятия обитателей хутора шли своим порядком. Кони возвращались с водопоя, женщины несли только что подоенное молоко, работники хлопотали около сараев; но все это делалось молча, и, казалось, люди знаками напоминали друг другу о необходимости соблюдения тишины. Только гуси, с которыми не могла объясниться пастушка, загонявшая их длинным кнутом, кончали громкий разговор, начатый где-то на лугу. Куры, как всегда в хорошую погоду, давно уже спали на насесте.

В деревне тоже было малоллюдно; и здесь было так же тихо, как на хуторе.

Двери на крыльцо были открыты настежь, и заходящее солнце ярко освещало пустые лавки и через порог прокрадывалось в сени. На фоне темных деревьев маленькая усадьба, освещенная солнцем, имела очень живописный вид, несмотря на свою простоту и заброшенность. Даже скромные цветы, выглядывавшие из-за плетня, мальвы, орлики, ноготки, пестро расцветившие, красиво выделялись на сером фоне стен дома.

Пользуясь тем, что никто им здесь не мешает, ласточки без боязни, не спеша, возвращались под стрехи, в свои гнезда; а воробьи, рассевшись на спинках лавок и на полу, хозяйничали, как в собственной квартире.

Но вдруг они испуганно вспорхнули от стука отворившейся в сенях двери.

На крыльцо медленно вышла женщина средних лет, погруженная в глубокое раздумье: ее фигура, лицо и движения так мало гармонировали со всем окружающим, что трудно было признать в ней обительницу этого дома.

Хоть годы отняли у нее прелесть молодости, и она сама, по-видимому, нисколько не заботилась о том, какие перемены произошли в ее наружности, она все еще была прекрасна той изысканной, породистой красотой, в которой сказывается благородное происхождение. Правда, и в убогих хатах попадаются такие райские цветы, такие избранные существа, но поэзия, которую облакает их природа, имеет совсем другой характер.

По этой женщине можно было узнать с первого взгляда, что она родилась и выросла во дворцах, что счастье и довольство баюкали ее с молодости, и только жизненная буря загнала ее сюда. И теперь она была хозяйкой маленькой усадьбы, скромно одетая, всеми забытая, ко всему равнодушная, печальная и страдающая.

Одного только не могла отнять у нее бедность – того, что природа дала ей при рождении, как талисман, или как бремя: прекрасной фигуры, напоминавшей статую, лица с изумительной чистотой линий, выразительного и пламенного взгляда черных глаз, мраморной белизны лба и королевского величия в осанке и движениях. Руки, скрещенные на груди, поражали своей чудесной формой, несмотря на то, что они, видимо, не составляли предмета забот их обладательницы; небрежно свернутые на голове волосы, в которых уже серебрились белые нити, лежали пышными, густыми прядями и своей тяжестью, казалось, нагибали голову.

Ее темное платье, скромного, почти монашеского покроя, было сильно поношено, на шее была надета белая косынка, а в руках она держала смятый белый платочек, которым она только что отерла покрасневшие от слез глаза. Скрытая боль и напряженная мысль испортили все еще красивые линии ее рта, придав всему лицу выражение суровости. Лоб был прорезан глубокими складками.

Она медленно подошла к краю крыльца, вперила взгляд куда-то вдаль, туда, где был лес, и виднелась дорога...

Смотрела, но ничего не видела; слушала, но звуки не доходили до ее слуха. По ее лицу было видно, что все ее мысли и вся сила духа сосредоточились где-то внутри ее существа и раздирали ее: там мелькали образы, и раздавались голоса, заглушая все звуки извне. Всем существом ее овладело какое-то оцепенение.

Что-то придавило ее такой страшной тяжестью, что она едва могла двигаться. Боль часто ложится камнем на грудь и оловом на голову.

Так она стояла некоторое время в полной неподвижности, но вдруг какое-то неуловимое для других внешнее впечатление вернуло ее к жизни. Она вздрогнула и оглянулась. Полная нечувствительность вдруг сменилась обостренной чуткостью. По тому, как она смотрела в сторону деревни, как будто прислушиваясь к чему-то, можно было догадаться, что она кого-то оттуда поджидала.

Но из молчаливой деревеньки едва-едва доносился шум возвращающегося с поля стада, скрипение колодцев да пощелкивание аистов.

Ухо нормального человека не уловило бы ничего в этом хаосе звуков; но женщина находилась сейчас в том состоянии духа, который дает ясновидение. Еще минуту тому назад она не заметила бы пушечных выстрелов, теперь она слышала то, что не было доступно обыкновенному человеку, и видела сокрытое от всех глаз. С напряженным вниманием она прислушивалась к каким-то звукам вдали, и лицо ее понемногу оживлялось.

По песчаной дороге стучало что-то, и, может быть, только она одна различала эти стуки.

Но стук становился с каждой минутой все более громким, и она могла вздохнуть свободней.

Теперь она была уже почти уверена, что приближается то, чего она ждала. Но прошло довольно много времени, прежде чем она убедилась, что ожидания ее не напрасны; наконец, у больших ворот при въезде в усадьбу показалась довольно элегантная коляска, в которую были запряжены две рослые лошади в нарядных хомутах.

На козлах сидел кучер в ливрее с гербами и нашивками, а в коляске – маленькая фигурка в треуголке и французском мундире восемнадцатого века, с тростью в руке и в плаще песочного цвета на плечах.

Прибывший был уже немолод, но отличался живостью и подвижностью, а его иноземный парик и круглое, загорелое лицо с черными, быстрыми глазками, пухлое, бритое, бабьего вида, обнаруживали в нем человека нездешнего и какой-то иной породы.

В ту минуту, когда парадно одетый кучер собирался с шиком подъехать к крыльцу бедной усадьбы, маленький человечек хлопнул его по плечу, давая знать, чтобы он остановился у ворот. Важный кучер с неудовольствием повиновался, показывая всем своим видом, как это было ему неприятно: никогда еще ему не приходилось прятаться за плетнем.

Женщина, поджидавшая на крыльце, завидев гостя, медленно и величественно пошла ему навстречу, понемногу ускоряя шаг, но маленький француз предупредил ее, выскочив из коляски, и почти бегом направился к ней, приподняв шляпу и улыбкой приветствуя ее.

Хотя он был немолод и некрасив, а костюм не делал его изящнее, но лицо у него было умное, с пронизательным и добродушным в то же время взглядом; при виде печальной пани во взгляде его отразилось почтение и сочувствие.

Не успела она еще вымолвить слова, как гость быстро взял ее за руку и с глубоким уважением поцеловал ее. Потом он вопросительно взглянул на нее, и женщина, поняв ее взгляд, отвечала ему по-французски:

– Да, милый мой доктор, не лучше, нет, не лучше...

– Что же с ним, – живо спросил доктор. – Что-нибудь новое?

– Сам увидишь, дорогой доктор, – лихорадка не прекращается, он беспокоится и очень ослабел...

– Но он в сознании? – допытывался доктор.

– Да, бывают минуты, когда он как будто бредит и говорит неразумные вещи, но когда я обращаюсь к нему, он приходит в себя.

Так разговаривая, они подошли к дому; женщина пошла вперед, а доктор последовал за нею в сени; она осторожно отворила дверь в маленькую переднюю и прошла оттуда в большую спальню.

Здесь было совсем темно, потому что окна были задернуты зелеными занавесками. В комнате, в одном углу которой виднелась из-за ширм кровать, было немного мебели, да и мебель была именно такая, какая встречается во всех бедных шляхетских усадьбах. Стол, заваленный бумагами, а в настоящее время и склянками с лекарствами, несколько кресел, сундук, шкаф, на стенах ружья и охотничьи сумки, а в углу – всякая домашняя рухлядь и бочонки с уксусом – все эти предметы придавали комнате самую обыкновенную внешность, ничем не привлекающую внимания.

Стук открываемых дверей, шелест платья и шум шагов доктора – хотя он шел на цыпочках – должно быть, разбудили больного. Послышался тяжелый вздох, и слабый голос спросил:

– Это ты, моя добрая Беата? Дай мне пить – страшная жажда!

Женщина торопливо подошла к кровати, склонилась над больным и шепнула:

– Доктор Клемент приехал.

Больной снова вздохнул и произнес едва слышно:

– Он уже мне не поможет.

Француз, стоявший поблизости, подошел и на ломаном польском языке приветствовал больного.

– Ну, как же дела? Лучше? – Только теперь, когда глаза привыкли к темноте, доктор Клемент разглядел лежавшего перед ним человека. На высоко взбитых подушках лежал мужчина средних лет, еще не старый, но и не молодой уже, огромного роста и атлетического сложения, исхудавший и страшно истощенный. Лицо и часть открытой груди, шея и руки представляли из себя одни только кости, покрытые пожелтевшей кожей. Из под нее выступали вздувшиеся жилы, словно веревки опоясавшие этот живой скелет. Худые, впалые щеки заросли темной, начинавшей уже седеть, давно не бритой бородой, от которой отделялись большие и пушистые шляхетские усы. Эта жесткая щетинистая растительность закрывала нижнюю часть лица, а в верхней части приковывали внимание быстрые, беспокойные, широко раскрытые глаза, блестящие огнем, если не жизни, то лихорадки. Прекрасный, большой лоб еще увеличивала лысина, едва прикрытая редкими волосами.

Лицо это, видимо, сильно измененное болезнью, сохранило от прежних дней выражение мужества, энергии и стоического терпения, превозмогавшего боль. При каждом вздохе грудь тяжело поднималась, а руки беспокойно хватались за одеяло, то натягивая его, то отталкивая его от себя.

Доктор, склонившись над больным и взяв его за руку, следил за дыханием и считал пульс, не обнаруживая впечатлений, которое производили на него эти наблюдения. Внимательно следившая за ним женщина по выражению его лица скорее могла бы вывести успокоительное заключение, чем угадать, что он сам утратил всякую надежду.

Так и было в действительности, но доктор Клемент имел многолетнюю практику и умел владеть собой. Придворный врач знатного, избалованного пана, он всегда умел найти слово утешения даже тогда, когда сам сомневался. Медленно выпустив руку больного, он спокойно заявил, что лихорадка была не сильнее обыкновенного. Больной пристально вглядывался в лицо доктора своими черными глазами, как будто хотел что-то сказать ему, с другой стороны к нему пытливо приглядывалась женщина.

Доктор, избегая их взглядов, видимо, искал предлогов отвлечь от себя их внимание.

Он попросил принести не очень холодной воды, чтобы сделать для больного лимонад, а два лимона вынул из своего кармана.

Пани сама пошла принести ему все необходимое для этого, а больной живым движением руки подозвал его к себе.

– Не говори ничего моей жене, – таинственно сказал он. – К чему ей раньше времени огорчаться и тревожиться. Довольно ей будет горя и потом. Я уж знаю, что мне не поможет ни лимонад, ни другие лекарства! Разве только Бог один, – но да будет свята его воля. *Fiat voluntas tua!* – слабым голосом прибавил он.

– Это все твои фантазии, – возразил доктор, – еще совершенно нет ничего угрожающего!

– Э, что ты там мне говоришь! – нетерпеливо задвигавшись, сказал больной. – Я это чувствую лучше, чем ты, мой дорогой доктор! Все напрасно, мне никто не поможет, – гроб меня ждет!

– К чему забивать себе в голову такие мысли? – шепнул доктор. – Ну, к чему это?

– Ты думаешь, что я боюсь? – возразил больной. – Вовсе нет! Мне жаль жену, о ней я беспокоюсь; одна, как перст, на свете. Правда, сын уже взрослый, но совсем еще неопытный в жизни... Что она будет делать! Ах, Боже мой!

Он глубоко вздохнул.

– Сама-то она еще как-нибудь проживет, но Тодя как раз теперь нуждается в опеке...

Услышав стук открывающейся двери и шелест платья, больной умолк и, меняя тон, прибавил:

– Я бы лучше выпил огуречного кваса, чем этого твоего лимонада.

Доктор Клемент пожал плечами и невольно рассмеялся:

– Вот он польский шляхтич! – пробормотал он, идя за стаканом, чтобы приготовить питье для больного.

Когда он отошел от кровати, женщина приблизилась к больному, оправила подушки и, слегка приподняв его голову, положила ее удобнее. В глазах больного засверкали слезы, он схватил белую руку жены и страстно прижал ее к губам.

Глаза женщины тоже наполнились слезами, но, не желая показывать их, она отошла к окну. Доктор Клемент, приготовив лимонад, попробовал его и отнес больному, которого сам и напоил, потому что у того дрожали руки.

– Ну, теперь ты отдохни и засни, а я попрошу пани дать мне кофе и, может быть, приготовлю еще лекарство на ночь.

Больной действительно, как будто в конец утомленный этой беседой, прикрыл глаза и стиснул зубы, словно удерживая судорожное рыдание. Жена его, отойдя от окна, провела доктора в приемную комнату.

Эта низкая, довольно обширная комната с окнами, выходившими во двор, имела очень странный вид: она была, видимо, заброшена, заставлена простою и уже сильно подержанною мебелью; но среди нее виднелись кое-где по углам, как бы остатки лучших времен – изысканная мебель и дорогие безделушки, покрытые пылью. Как сама пани рядом со своим мужем невольно возбуждала мысль о соединении двух совершенно различных существ, принадлежащих к разным слоям общества, только случайно связанных судьбой, так и эта комната имела две несходные между собой внешности: одну простую, бедную шляхетскую, другую составленную из остатков и обломков былой роскоши. И эта другая стыдливо пряталась и нигде не высывалась на передний план – словно чувствовала себя здесь в гостях, не соответствующей общему тону. Несколько саксонских чашечек, шкафчик с бронзовыми инкрустациями, прекрасной работы, столик с поломанной ножкой – все это было засунуто так, что трудно было заметить эти предметы за неуклюжими стульями и столами. Пани торопливо отдала приказание служанке, появившейся в дверях, и, повернувшись к доктору, устремила на него полные слез глаза. Старик сначала немного смутился, но, быстро овладев собой, придал своему лицу спокойное выражение и принялся расхаживать по комнате, поправляя свой парик.

– Скажи мне правду, – заговорила Беата, и в голосе ее звучали сдержанные рыдания. – Я чувствую, что ему все хуже, я умею страдать и ко всему готова: но я хочу знать, что меня ожидает, чтобы подумать о своем будущем...

Доктор еще ниже опустил голову – но молчал. Тогда она заговорила с ним по-французски: она владела этим языком в совершенстве, как человек, говоривший на нем с детства.

– Поверьте мне, – пораздумав начал доктор, – что мы, бедные врачи, часто знаем о жизни и смерти не больше, чем люди, не изучавшие медицины. Я сам видел сотни случаев, когда больные, осужденные на смерть целым факультетом, выздоравливали. Природа располагает чудесными средствами, и мы даже понятия не имеем о ее силах. Врач должен до последней минуты не терять надежды – и я тоже надеюсь!!

– Ты утешаешь меня, – с покорностью вымолвила Беата, – но из твоих речей, мой добрый друг, я ясно вижу, что надеяться можно только на чудо Божие, но кто же достоин чуда?

Она отвернулась, отирая платком глаза.

– Я жду сына, – тихо сказала она, – он должен был приехать еще вчера, но его нет! Письмо я отправила по почте уже давно...

– По почте! По почте! – прервал доктор. – Почему же вы не переслали его мне? Я попросил бы Бека; послали бы его с эстафетой от гетмана в Варшаву и дошло бы скорее!

Беата покраснела и живо возразила:

– Вы знаете, что я не могла прибегнуть к этому посредничеству.

Клемент покачал головой:

– Но ведь не вы, а я устроил бы это дело, и никто бы не знал, кто послал письмо...

– Да, но знали бы к кому! – сказала пани, – и это главное. Спасибо тебе, доктор, но я не имею и не могу иметь никаких сношений с двором пана гетмана.

Доктор хотел сказать еще что-то, но, заметив нахмуренное лицо своей собеседницы, прибавил только:

– Вы...

Упрямы.

Служанка, принесшая кофе, вовремя прервала эту тягостную для обоих беседу.

В сервировке кофе была заметна та же двойственность, как и во всем доме. Кофе подавался в простом кофейнике на старом, потертом подносе, но тут же стояла саксонская чашка и лежала тонкая салфетка. Служанка, уже не молодая, в простом крестьянском платье, видимо, не употребляла ни малейших стараний, чтобы скрыть от людских глаз недостатки хозяйства. Сама она была босая, с засученными рукавами, в грязноватом переднике, наводившем на мысль, что она только что побывала в хлеву у коровы.

Клемент, не ожидая, чтобы ему налили кофе, принялся сам хозяйничать, стараясь принять более веселый вид.

– Я уж, право, не знаю, как вас и благодарить, – печально сказала хозяйка, присаживаясь к столу. – Я понимаю, как вам трудно хоть на минуту уехать из Белостока, там всегда кто-нибудь болен, и вы там всегда нужны. Я надеюсь, что вы не скажете, что были у меня, не признаетесь в этом преступлении... Я очень прошу вас об этом, мой старый друг, – прибавила она дрожащим голосом, подавая ему руку. – Я не хочу, чтобы там упоминали обо мне, пусть не знают, что со мной!

– Будьте спокойны! – живо возразил Клемент. – Отсюда недалеко до Хороши, а там у меня есть больной – бургграф, которого очень любит гетманша. Мой визит к вам – на его счет.

С минуту длилось неприятное молчание; доктор поглядывал на хозяйку, но та устремила застывший взгляд в стену, а в глазах ее все еще стояли слезы. Несколько раз она хотела заговорить, но не решалась сказать того, что лежало у нее на душе.

– Я бы очень хотела, – шепнула она, наконец, опустив глаза на стол, – чтобы Тодя поспешил и успел застать его. Он так желал видеть его...

И...

Меня...

И она взглянула на доктора заплаканными глазами.

– Скажи мне, а если он не успеет приехать сегодня? Клемент смутился и нетерпеливо задвинулся на месте. – Ну, что вы, – сказал он, запивая смущенье глотком кофе, – что за мысль, ведь еще нет ничего угрожающего!

– Тодя должен приехать с минуты на минуту, – прибавила она, отвернувшись к окну. – Я знаю его сердце, оно горячо, нежно любит своего доброго отца. Только бы он получил письмо! Но отдадут ли ему вовремя? Найдут ли его?

– Ведь он был у Пиаров? – спросил Клемент.

– Я не знаю; науку он окончил, – сказала пани Беата, – но ксендзы задерживали его; ксендз Копарский находил, что он мог бы быть им полезным, поступив в монастырь, но мальчику не нравится черная одежда. Он хотел устроиться при дворе... Не писал мне, однако, где и у кого.

– Без протекции, один... Я сомневаюсь, чтобы его где-нибудь приняли. – Если его не найдут у Пиаров, – прибавил в утешение ей доктор, – то там уж будут знать и укажут, где он находится. Письмо, вероятно, дошло, но я ручаюсь, что, если бы оно шло через мои руки, то пришло бы скорее. Женщина задумалась и не ответила. Доктор Клемент взглянул на часы и встал с места.

– Посмотрим еще на нашего больного, – сказал он. – Я дам ему порошки; на всякий случай я захватил их с собой, чтобы не пришлось посылать за ними в Белосток.

Говоря это доктор Клемент вынул из бокового кармана маленький, завернутый в бумагу, пакетик, от которого по всей комнате распространился сильный запах мускуса.

Вошли в комнату больного. Еще в дверях они услышали тяжелое дыхание как будто спавшего человека, но потом послышался вздох, кашель и беспокойный голос спросил:

– А Тоди все еще нет? Боже мой, как я хотел бы еще увидеть его!

Вместо ответа доктор Клемент взял руку больного и задержал ее в своей.

– Мы дадим вам порошок, – сказал он, – и он вам поможет.

– Я уже чувствую его запах, – отвечал больной, – но...

Разве это необходимо?

Жена, предупреждая доктора, воскликнула умоляюще:

– Если Клемент советует, значит, необходимо, а я прошу.

Больной закрыл глаза, помолчал немного и послушно шепнул:

– Ну, разве для того, чтобы дожидаться Тоди!

Доктор сам дал больному первый порошок и, пожав его руку, простился с ним, обещая приехать завтра.

Больной, лежавший с закрытыми глазами, медленно открыл их и взглянул на доктора, словно проверяя, не обманывают ли его этой надеждой на завтра. Клемент твердо повторил:

– До свиданья, до завтра! Прошу спать спокойно и ни о чем волнующем не думать. Я надеюсь, что мои порошки будут очень полезны.

Больной закрыл глаза и пробормотал что-то, чего доктор не разобрал.

Пани сама проводила доктора до самого экипажа, около которого важный кучер как раз в это время угощался каким-то прохладительным напитком. Босой мальчишка почтительно держал перед ним зеленую фуражку.

Произнеся несколько слов утешения провожавшей его женщине, доктор накинул на себя плащ, коляска выехала из ворот и скоро исчезла совсем из глаз хозяйки, которая в забывчивости все еще продолжала стоять на месте. Солнце зашло.

Она стала всматриваться в ту сторону, откуда должен был приехать сын, но на дороге ничего не было ни видно, ни слышно.

Ночная тишина спускалась на землю; только где-то вдали слышался стук колес удалявшегося экипажа и лай обеспокоенных деревенских собак. Опустив голову, Беата медленно доплелась до крыльца, упала на лавку, прижалась к колонне и долго-долго сидела так, измученная и потерянная.

Глаза ее слипались от усталости, но внутреннее беспокойство отгоняло сон; на минутку забывшись, она тотчас же в испуге снова приходила в себя.

Ночь прошла довольно спокойно для больного, хотя он несколько раз просыпался, прислушивался и шептал что-то, как будто молился или о чем-то просил. Жена, сидевшая в кресле подле него, при малейшем его движении вставала и прикладывала ладонь к его лбу, что действовало на него успокаивающе. Он снова засыпал.

Уже слабый дневной свет прокрадывался сквозь щели ставень, когда чуткое ухо бодрствовавшей Беаты уловило какой-то шум у ворот усадьбы. В один миг она сорвалась с места и побежала к дверям. Отворив их с величайшей осторожностью, чтобы не разбудить больного, она вышла на крыльцо и тотчас же увидела шедшего от ворот высокого мужчину, закутанного в плащ. Со слабым криком она крепко обхватила его за шею и разразилась долго сдерживаемыми рыданиями.

Приехавший схватил ее руку и стал целовать ее.

– Тодя! Мой Тодя! – повторяла она рыдая. – Боже мой! А я уже боялась, что мы тебя не дождемся!

– Дорогая матушка! – свежим, молодым голосом отвечал прибывший. – Я ехал день и ночь!

Юноша сбросил с себя плащ и представился глазам матери во всем блеске своей молодости. Трудно было вообразить себе более красивого юношу, и сердце матери могло быть довольно таким зрелищем. Он был не только прекрасно сложен и поразительно хорош собою, но его лоб, глаза, линии его рта и каждое движение обнаруживали мужскую энергию, быстрый, находчивый ум, силу воли, и какое-то исключительное благородство. Так же, как и мать его, он казался царственным изгнанником под этой бедной кровлей, – существом, отмеченным судьбою и предназначенным для иной доли. Ему недоставало только аристократической ветренности и легкомыслия того времени, в нем как раз поражаало обратное: серьезность вдумчивой природы, желающей во что бы то ни стало, подняться над толпою.

Скромный, почти бедный дорожный костюм не только не портил его, но еще сильнее подчеркивал изящество всей его фигуры и лица. Это был живой образ его матери в молодости, доведенный до идеала прибавлением черт мужественности и энергии. Характерным отличием этого рыцарственного юноши была мягкость и умение владеть собою, усмирявшие проявления энергии. Правила монашеского ордена, в котором он получил воспитание, привили ему скромность и терпение и научили его управлять сознаваемыми в себе силами. Все это угадывалось в его лице, мужественном и ласковом в то же время, в смелом и мягком взгляде, в линиях рта, хранивших строгую сдержанность речи.

Мать всматривалась в его лицо с невыразимой нежностью, ища в нем отражения того влияния, которое могло оказать на него знакомство с чужими людьми. Глазами материнской любви она угадала бы все эти изменения. Но не было заметно следов малейшей порчи на чистом мраморе юности – все отскакивало от него, и он остался, каким был.

Мать еще раз обняла его. Юноша молчал, не решаясь спросить про отца; а ей не хотелось спешить огорчать его печальной вестью.

Утомленная волнением, она опустила на лавку.

Между тем, весть о прибытии паныча разнеслась по всей усадьбе. На двор отовсюду бежали люди, поглядывая на крыльцо. Пани долго сидела, опустив голову на руки, словно собираясь с силами. Тодя молча стоял подле нее.

– Отец очень плох, – сказала она наконец, – так плох, что я должна была вызвать тебя, чтобы он мог увидеть тебя и благословить; чтобы он мог порадоваться на тебя!

– Но отчего же произошло ухудшение? – с беспокойством спросил юноша. – Ах, это подготавливалось уже давно, – со вздохом сказала Беата. – Ты знаешь, какой он был всегда сильный и здоровый, но он себя совершенно не берег. Чтобы облегчить мне жизнь, чтобы помочь тебе, он работал сверх меры, трудился без отдыха день и ночь.

И железный человек не выдержал бы такого труда и забот. Сколько раз я упрашивала его, но он не хотел слушать ни меня, ни кого-нибудь другого. Он всюду хотел поспеть сам, за всем присмотреть, и, если не хватало чужих рук, не жалел своих. И однажды разгоряченный, измученный, он напился где-то воды, – простудился, захворал, начал кашлять, а лечиться не хотел. И даже доктора не позволил позвать. И только когда я увидела, как усилилась болезнь,

я хитростью добилась того, что он позволил Клементу выслушать себя и подчинился его увещаниям.

Ее голос заметно ослабел.

– Ты увидишь его, – прибавила она. – Клемент еще надеется, а я – отчаиваюсь. Он страшно изменился, ослабел, все время лихорадит.

Она опустила голову, заплакала и не могла продолжать.

Было уже совсем светло; во дворе, не смотря на запрет хозяйки, началась уже хозяйственная суета, нарушившая тишину; хозяйка пошла взглянуть, не проснулся ли больной. Сын тихо пошел за нею. Едва только она переступила порог, как послышался слабый, торопливый и прерывающийся голос больного.

– Тодя здесь! Приехал! Я знаю.

– Да, – отвечала женщина, неторопливо подходя к нему, – но откуда ты об этом знаешь?

– Я это почувствовал! Он только что приехал!

Больной зашевелился, вытягивая вперед руки, словно призывая к себе прибывшего! Тодя торопливо подошел и, став на колени, стал целовать худые руки отца, – а тот прижал его голову к своей груди.

Мать, стоявшая сзади, горько плакала, тщетно стараясь удержать слезы. Несколько минут продолжалось молчание. Больной облегченно вздохнул, словно тяжесть спала с его души. Казалось, приезд сына придал ему новые силы, он поворачивался сам, хотя и с усилием, улыбался, лицо его приняло выражение успокоения.

– Ну, пусть он отдохнет, – сказал он жене, – покормите его; наговорись с ним, а потом пусть придет ко мне... Нам надо о многом переговорить... Эти порошки вернули мне силы; пожалуйста, если есть, дай мне еще один.

Больной проговорил все это необычно сильным и бодрым голосом, и жена, несколько успокоенная этим, принесла ему лекарство.

– А теперь, – сказал больной, приняв его, – я помолюсь Богу и поблагодарю его за то, что Он позволил мне дожидаться тебя. Иди, Тодя, с матерью, отдохни.

Поцеловав отцу руку, юноша вышел от него растерянный и напуганный, потому что его, давно не видевшего отца, гораздо больше поразила перемена в отце, который еще недавно казался несокрушимым гигантом, чем те, которые окружали его и видели постепенное исхудание этого сильного человека.

Едва только они очутились вдвоем с матерью, как Тодя, в отчаянии ломая руки, воскликнул:

– Но что же говорит Клемент? Разве нельзя ничем помочь?

– Ты сам увидишь его, – сказала мать. – Я ничего не могу поставить ему в упрек: он был всегда внимателен, относился к нам скорее, как друг, чем как врач, и делал все, что мог, но не в силах человеческих – справиться с этой болезнью.

Печально было возвращение в родной дом любимого сына; погруженные в глубокую, грустную задумчивость долго сидели мать и сын. Теодору не хотелось говорить о себе, и он неохотно отвечал на задаваемые ему вопросы. Он не решался тревожить мать, но вид отца порастил его и отнял у него всякую надежду. Будущее после этой смерти рисовалось ему черным, грозным и страшным, как бездна.

Но о себе он совершенно не думал; он чувствовал себя достаточно сильным, чтобы бороться с судьбою; тревожила его только мать, которая должна была остаться без опеки...

Отсутствие средств рисовало будущее только как тяжелую борьбу и как вечный траур по умершем. Тот, которого они вскоре должны были лишиться, был душою и руководителем всего дома, он был для них всем...

Около полудня больной, оставшись наедине с Тодей и убедившись, что жены нет поблизости, поспешно обратился к сыну:

– Я хотел непременно дождаться тебя, – медленно заговорил он, сдерживая голос и дыхание. – Я знаю твое сердце и надеюсь на него, но все же должен был поговорить с тобою. Мне очень плохо, – да, я не обманываю себя, – пусть свершится воля Божья! Я уже исповедывался, и совесть моя спокойна, – но меня тревожит мысль о матери твоей и о тебе! Ты, слава Богу, уже взрослый и сумеешь пробиться в жизнь, но она! Что будет с нею!

– Моя первая священная обязанность – заботиться о матери, – горячо прервал Тодя.

– Но она-то не позволит тебе заботиться о себе, – с беспокойством возразил больной. – Я ее знаю, она и себя, и все свое принесет в жертву тебе! А себя замучит в конец! Борок...

Ты ведь знаешь это – при самом большом труде едва доставляет средства на самое убогое существование. Пока я был в силах – я делал, что мог, но, когда меня не станет... Боже Всемогущий! Вам...

Ей...

Может быть, есть будет нечего... А ведь она смолоду привыкла к довольству...

Она...

– Дорогой мой батюшка, – прервал Тодя, – если бы твоя болезнь затянулась, и у тебя не было бы сил работать, я останусь в деревне, надену сермягу и буду трудиться, как простой рабочий... Ты знаешь, как я люблю мать и тебя... Ты укажешь мне, что делать.

– Она не позволит этого! – вскричал больной. – Обо мне нечего говорить, со мной нельзя считаться. Но она мечтает о блестящей карьере для тебя, а сама готова обречь себя на нужду и даже не покажет, что страдает. Ах, Тодя, эта мысль не дает мне умереть спокойно.

Тодя задумался.

– Я, батюшка, – сказал он, помолчав немного, – ни о какой карьере для себя не думаю. Я знаю свой долг и исполню его...

Глаза больного на миг сверкнули любопытством; он слушал жадно, ловя каждое слово, но беспокойство его не уменьшилось.

– Да, наконец, – сказал Тодя, понизив голос, – ведь дедушка еще жив, и он очень богат; и хотя он был обижен на матушку, но не может быть, чтобы он не простил ей всю жизнь. Я упрошу его!

Больной вздрогнул всем телом и изменившимся голосом горячо заговорил: – Дед, дед...

Старый чудака за то только гневался на твою мать, что она вышла замуж за меня, бедного шляхтича; и ни за что больше, – прибавил он, – только за это! Я был всему виною!!

– Но если бы я, его внук, пришел к нему с покорной просьбой о прощении... – продолжал Теодор, – может быть, я смягчил бы его гнев.

Эта мысль, видимо, так обеспокоила больного, что он схватил сына за руку и выговорил поспешно твердым и решительным тоном:

– И не думай об этом и не смей этого делать! Если ты любишь мать, если у тебя есть хоть капля привязанности ко мне... Никогда, слышишь, никогда не обращай к деду!!

Он выговорил это с большой страстностью, но потом, видимо, сообразил что-то и прибавил в объяснение:

– Не думай, что я сохранил к нему дурное чувство: я давно уже простил и ему, и всем другим; но старик – вспыльчив и необуздан. Я не хотел бы, чтобы ты услышал от него какую-нибудь клевету на твою мать. Воеводич ничем не стесняется, и если вобьет себе что-нибудь в голову, то уж оттуда трудно выколотить. Не ходи к деду и ни о чем не проси его, я прошу тебя об этом, а если нужно, то и приказываю!!

– Я исполню твое желание, – отвечал несколько смущенный юноша, – но ведь пан гетман очень ценил твои услуги, батюшка, любил тебя и относился к тебе с большим уважением... Даже и тогда, когда ты оставил двор...

При имени гетмана бледное лицо больного облилось румянцем; кровь ударила ему в голову и сжала грудь; он сильно закашлялся и не скоро успокоился.

– С гетманом я порвал навсегда, заговорил он, справившись с кашлем, –и верь мне – не без причины!.. Ни я, ни мать твоя знать его не хотим! Всякое сближение с ним было бы неприятно мне, но еще больше – твоей матери... Она не допустит до этого, я тоже!..

Теодор печально опустил голову.

– Гетман, – с горечью прибавил больной, – ведет себя как кролик, и забывает, что он человек. Гордость и барская распушенность испортили его сердце.

– Ну, довольно о нем, а при матери ни слова!!

Когда он говорил это, послышались шаги Беаты, и муж с насильственным смехом обратился к сыну:

– Ну, расскажи мне о своих успехах в Варшаве. Я очень интересуюсь.

– Я тоже не успела ни о чем еще расспросить его, – подхватила Беата. – Знаю только, что ученье он окончил, и что с помощью ксендза Конарского надеется получить место.

– И даже очень выгодное, – сказал Теодор, – но я без всякого сожаления готов отречься от всех этих надежд и обещаний, если только могу быть полезным отцу.

Родители переглянулись, как будто спрашивая друг у друга, как ответить ему, и, наконец, отец, подумав, сказал с горькой улыбкой:

– Что же это за блестящие надежды? Если они основаны на каких-нибудь милостях магнатов, то не забывай, что этому нельзя особенно доверяться.

– Да я и не особенно на них рассчитываю, – почти равнодушно возразил Толя, – дело в том, что ксендз Конарский, пользующийся большим влиянием у князя канцлера и русского воеводы, рекомендовал меня молодому князю-генералу, как полкового секретаря. Мне помогло еще и то, что я, благодаря матушке, научился бегло говорить и писать по-французски. Так как теперь, по-видимому, у князей много работы, то меня обнадежили, что меня возьмет к себе сам князь-канцлер. У него многому можно научиться, так как он имеет теперь большое влияние в государственных делах Речи Посполитой. Во время его речи родители взглядами переговаривались друг с другом.

Беата вздрогнула, но не от радости – лицо ее отражало внутреннее страдание, муж был, по внешности, более спокоен.

– Что же ты на это скажешь?

Мать покачала головой, но не решилась высказаться прямо.

– Одно только портит мою радость обещанного почетного назначения, –прибавил Теодор. – Служа интересам "фамилии" я несомненно должен бы был оказаться в неприязненных отношениях с паном гетманом, потому что, хотя граф женат на племяннице канцлера, отношения между Волчином и Белостоком, как слышно, ухудшаются с каждым днем.

Не подумав, Беата живо и гневно воскликнула:

– У нас нет никаких обязательств по отношению к гетману!

Беспокойный взгляд больного остановил жену, которая смешалась и не могла продолжать.

Сын, стоявший ближе к матери, заметил в ее глазах искорки гнева и сильного волнения. Больной, опустив голову, задумался.

– Придворная жизнь имеет свои темные стороны, – тихо договорил он, потому что силы его все слабели... – Там, пока ты нужен, тобой дорожат, а на маленького человека все взвалют – всю работу, правда и то, что человек чистый и дорожащий своей репутацией из всего сумеет выйти незапятнанным, но к чему лезть в грязь, если рядом есть сухая дорога?

– Не может быть, чтобы ты не чувствовал в себе рыцарской крови и не имел призвания к воинскому делу. Вместо того, чтобы сидеть в грязных канцеляриях, не лучше ли было бы служить в войске под каким-нибудь литовским знаменем?

– В коронном войске мне бы не хотелось тебя видеть, – прибавил больной.

– И я тоже, – подтвердила мать, не объясняя причины. – Я бы не позволила тебе этого...

Тодя сидел в задумчивости.

– Я ничего не имею против службы в войске, – возразил он, – но мне казалось, что она будет для меня не по средствам. Бедняка нигде не примут; ведь я должен был бы иметь свою свиту, а я ни в каком случае не хотел бы вводить родителей в расходы.

– Мы с радостью сделали бы это для тебя, – с глубоким вздохом отвечала мать, – но в настоящее время это было бы...

Невозможно. У нас нет ничего, кроме Борка, да и тот весь в долгах.

– Ну, тогда лучше всего, – воскликнул юноша, вставая и с веселым лицом целуя руку матери, – лучше всего совсем об этом не думать. У меня еще есть время! Никто меня не торопит! Пусть сначала батюшка поправится, – докончил он, – а потом мы подробно все обсудим.

Все замолчали. Мать обняла его за голову. Больной закрыл глаза, утомленный разговором и, видимо, желая уснуть. Беата с сыном на цыпочках отошли от кровати. Мать задернула занавеску у окна и вышла вместе с сыном из комнаты.

Когда под вечер приехал верный приятель, доктор Клемент, больной спал.

Доктор очень сердечно поздоровался с юношей и с чрезвычайным вниманием стал приглядываться к нему, как будто несказанно обрадованный видом этой расцветающей юности. Он целовал и обнимал его, оглядывал со всех сторон, ощупывал и на некоторое время забыл ради него даже о своем пациенте.

О нем напомнила ему сама пани, склонившись к его уху и что-то шепнув ему, после чего он поспешил к больному.

В этот день приход их не обеспокоил спящего. Они подошли к кровати, и доктор, осторожно взяв руку больного, начал щупать пульс. Больной не открывал глаз. Он тяжело дышал, в груди у него что-то хрипело. Лицо Клемента нахмурилось, прежде чем он успел сообразить, что выдает этим себя.

Он отошел от больного и с минуту стоял в молчании, вероятно, обдумывая, чем бы модно было помочь здесь.

Беата ждала, что он скажет ей, когда Клемент сделал ей знак рукой, что не хочет больше тревожить спящего, и стал со смущенным видом подвигаться к дверям.

Когда они вышли на крыльцо, Беата спросила с беспокойством:

– Что же теперь с ним делать?

– Пока ничего, – отвечал доктор. – Теперь, когда мы исчерпали все средства, какие знает наука, предоставим все благодетельной природе и не будем ни в чем мешать ей. Больной спит; пусть он успокоится; может быть, в этом его спасение...

Потом он начал расспрашивать, не слишком ли взволновал больного приезд сына? Не утомил ли его разговор с ним?.. И кончил тем, что теперь должно последовать облегчение. Но говорил он это с таким видом, что Беата, хорошо его знавшая, не решилась расспрашивать больше, и лицо ее приняло выражение страдальческой покорности судьбе.

Доктор, который обладал большим тактом, перевел разговор на посторонние темы, потом он подошел к Тодя, подсел к нему, а когда хозяйка вышла на минутку, чтобы приказать приготовить для него кофе, он быстро наклонился к уху юноши и шепнул ему:

– Когда я буду уезжать, проводи меня, пожалуйста, до ворот. Мне нужно переговорить с той отдельно.

Тодя встревожился, но не мог расспросить более подробно, потому что мать уже возвращалась, и доктор тотчас же перевел разговор на Варшаву.

– Ну, как здоровье его величества?

– Не знаю, – отвечал юноша, слышал только, что силы его слабеют. А доказательством служит то, что он отменил любимую свою охоту и ограничился стрельбой в цель и во псов.

– Ну, – заметил Клемент, – дал бы только Бог здоровья нашему министру Брюлю и пану коронному маршалу, тогда мы не пострадаем от немоги его величества. Он не может пользо-

ваться охотничьим развлечением, но за то может бывать каждый день в опере и доставлять себе всякие другие удовольствия.

Задав юноше еще несколько вопросов о Брюле, его сыновьях и о различных особах, по своему положению стоявших близко ко двору и, наконец, о французском министре-резиденте пане Дюране, о котором Тодя не мог рассказать ему ничего нового, доктор пошел пить кофе и, заканчивая разговор, заметил:

– Мы здесь, в Белостоке, поджидаем всех этих матадоров на св. Яна, в том числе и французского резидента.

За кофе разговор шел о весне и о различных посторонних вещах, в присутствии пани Беаты доктор не упоминал больше ни о Белостоке, ни о придворных делах. Торопливо допив свою чашку, Клемент взглянул на часы и схватился за шляпу...

– Я не хочу закармливать больного лекарствами, – обратился он к хозяйке. – Но если бы он, проснувшись, попросил лекарства, можно ему дать вчерашний порошок. Самое главное, чтобы он ничем не волновался и не утомлялся – пусть природа делает свое дело.

Все это не уменьшило беспокойство Беаты. Доктор, видимо, спешил ехать, и она не смела задержать его; все трое вышли на крыльцо, и Тодя, послушный желанию доктора, пошел проводить его до коляски. Здесь Клемент завязал с ним живую беседу и так увлекся, что приказал кучеру ехать за собой, а сам пошел пешком за ворота, непрерывно разговаривая с Тодей.

Мать осталась ждать сына на крыльце. Между тем доктор, пропустив вперед коляску с кучером, замедлил шаги и, очутившись уже за воротами, взял юношу за руку...

– Ну, милый мой пан Теодор, ты уже взрослый мужчина, и я должен поговорить с тобою прямо, – сказал он изменившимся голосом. – Отец твой...

Не переживет этой ночи; этот сон – последняя борьба жизни со смертью. Силы уже истощились. Будь готов к тому, что тебя ожидает. Не показывай матери своей тревоги, ты должен успокоить и подбодрить ее!

Приговор этот, произнесенный тоном лихорадочной решимости и видимо стоивший больших усилий доброму французу, произвел на Тодю ошеломляющее впечатление; он испуганно оглянулся назад в сторону матери, словно боялся, не услышала ли она этих слов, или не догадалась ли о значении их таинственного перешептывания.

– Будь мужествен, дорогой мой пан Теодор, будь мужествен, – все так же торопливо говорил доктор Клемент. – От матери нельзя этого требовать, но твой долг – овладеть своим горем и успокоить ее. Ты начинаешь жизнь в тяжелых условиях, но что делать – никто не избавлен от страдания!

Теодор все еще молчал; тогда доктор заговорил менее решительным тоном:

– Ты знаешь, что я всегда был и останусь верным другом вашего дома; знаешь, что я высоко ценю все достоинства твоей матери и был бы рад избавить ее от всяких, малейших даже неприятностей. Самая смерть эта будет для нее страшным ударом... Я говорю с тобой, как друг; я знаю, что в доме у вас нет сбережений, а смерть – дорогой гость... В первую минуту вам будет трудно думать о деньгах, а на свете, к сожалению, приходится платить за все! Вот тут у меня деньги, которые мне совершенно не нужны, но избави тебя Бог сказать ей, что ты их взял у меня! Скажи, что хочешь, ну, хоть то, что ты привез их с собой из Варшавы...

Говоря это, Клемент насильно всунул сверток золотых дукатов в руку Тодю. Тот сопротивлялся и не хотел брать, но доктор, все время тревожно оглядывавшийся в сторону крыльца, прибавил с выражением нетерпения в голосе и в лице:

– Бери, не смущайся и не отказывайся, тут ведь дело идет о спокойствии твоей матери. Потом вы мне отдадите – ведь это просто небольшой заем. *Sapristi!*

– Но, дорогой доктор!

– Ну, смотри, мать видит нас и может вынести какое-нибудь тревожное заключение из нашего разговора. Спрячь деньги в карман; *sacre tonpere!* И будь здоров!

– Если бы что-нибудь случилось, завтра я буду об этом знать.

Он сделал Тоде прощальный знак рукою; приказал кучеру остановиться и, быстро усевшись в коляску, велел, как можно скорее ехать в Хорошу, словно боялся погони.

Тодя, ошеломленный страшным открытием, которое было для него так неожиданно, как если бы камень упал на него с неба, не скоро нашел в себе силы, чтобы двинуться с места и вернуться к матери. Он боялся, что она угадает по его лицу то впечатление, которое оставил на нем приговор доктора. Очень ему хотелось избежать сейчас разговора с нею, но Беата не уходила с крыльца и, видимо, поджидала его.

Первый раз в жизни Теодор очутился в таком невыносимо тяжелом положении, которое налагало на него известный образ действий и ответственность за них. Любовь к отцу, который был для него в детстве нянькой, учителем, товарищем и лучшим другом, сжимала ему сердце страшной болью. Тщетно пытаясь придать своему лицу более спокойное выражение, он медленно направился к крыльцу.

По дороге он выдумал себе какое-то занятие в конюшне и хотел зайти туда, но мать позвала его к себе. Он молча подошел и сел рядом с ней на лавку.

– Меня беспокоит этот сон, – обратилась она к сыну, – за всю его болезнь я еще ни разу не видела, чтобы он так беспробудно спал. Однако, Клемент не видит в этом ничего угрожающего...

Теодор ничего не сказал на это.

Так они просидели на крыльце, изредка обмениваясь мыслями, до позднего вечера. Беата несколько раз входила в комнату больного, но он все время спал глубоким, хотя и беспокойным сном. Несмотря на запрещение доктора, она заговаривала с ним, стараясь разбудить его, но больной, с трудом открыв глаза и пробормотав что-то невнятное, снова впадал в тяжелую дрему.

Под вечер жар усилился. Мать с сыном сидели подле больного; ни она, ни он не предчувствовали, что сон этот будет последним, хотя Клемент и предсказывал ему скорую смерть. Тодя начинал уже надеяться. Около полуночи больной затих и, казалось, успокоился. Беата, подойдя к постели больного и, видя, что грудь его перестала лихорадочно вздыматься, отошла несколько успокоенная.

Уже светало, когда задремавшая было в кресле Беата вскочила и, не замечая никаких признаков жизни у лежавшего на кровати мужа, встала и подошла к нему.

Он лежал на спине; лицо его со спокойным выражением крепко спящего приняло какой-то синеватый оттенок. Прижав сложенные руки к груди, он, казалось, спокойно спал.

Она осторожно дотронулась ладонью до его лба – и страшный крик вырвался из ее груди.

Лоб его был холоден, как у трупа, больной не дышал – он был мертв.

Беата упала на колени, и подоспевший сын успел подхватить ее на руки, когда она лишилась сознания.

Услышав ее раздирающий крик, все обитатели усадьбы побежали к господскому дому, предчувствуя несчастье.

В царствование Августа III во всей Польше и Литве не было более великолепной резиденции, содержащейся с большей пышностью, чем польский Версаль, обиталище тогдашнего великого коронного гетмана, Яна Клеменса с Руши Браницкого, последнего потомка старого рода, который славился своим богатством еще при Пясте, – внука по женской линии и наследника гетмана Чернецкого.

Правда, эта блестящая резиденция не носила следов старины и была недавно только отстроена; чудесный замок казался возникшим по мановению палочки какой-нибудь волшебницы и перенесенным с другой планеты на подлесскую равнину.

Этой волшебной палочкой была воля одного человека и его миллионы. Рассказывали, что когда в городе был пожар, – это было еще до возникновения польского Версаля, – гетман

Браницкий сказал будто бы, что он этому очень рад, потому что может создать его снова из пепла, но уже по своему плану.

И действительно, улицы Белостока с их чистенькими, беленькими, веселыми домиками, утопавшими в зелени садов, напоминали какие-то иноземные города; многие из этих домиков принадлежали придворным и служащим французского и немецкого происхождения, составлявшим многочисленную свиту гетмана, и отличались таким изяществом и изысканностью постройки и таким удобством приспособлений, о каких и не слыхивали в стране.

В Белостоке, Бельске, Тыкоцине, Хороше и Высоком-Сточке все, начиная от костелов, – летние помещения, башенки, ворота, здания ратуш, гостиницы и маленькие усадьбы гетмановых служащих – все было устроено с таким вкусом и с такой расточительной роскошью, которые объяснялись только тем, что бездетный владелец считал себя в праве оставить такую память после себя. Гетманский Белосток принимал уже в своих стенах королей и мог без особога для себя обременения угощать царствующих особ даже саксонской династии. Весь обиход гетманского двора не уступал по пышности королевскому.

Дворец и все хозяйственные пристройки были чрезвычайно поместительны, а соответственно с этим был очень велик и придворный штат служащих. В день св. Яна, на именины гетмана, сюда съезжалась вся Варшава и все представители Короны. Заграничные послы и резиденты, депутаты от магистров и правительства и множество вельмож из союзных стран и польской шляхты съезжались сюда из дальних краев, чтобы отдать дань уважения и приязни могущественному магнату, первому государственному мужу Польши.

И только те, кто был к нему ближе всех, с кем он породнился через жену – Чарторыйские, familia, – вот уж несколько лет не появлялись в Белостоке. Ни для кого не было тайной то, что гетман, несмотря на близкое родство, был с ними в более чем холодных отношениях. Жена его, прекрасная графиня Изабелла, к которой он уже начал остывать, не имела достаточно влияния, чтобы расположить его в пользу своих родных.

Все политические идеи и убеждения гетмана и "фамилии" совершенно расходились между собой. Конечно, и вопросы личного самолюбия играли тут некоторую роль, но главной причиной несогласия было основное понимание блага государства.

Чарторыйские мечтали о реформе местных учреждений, об отмене привилегий, поддерживающих политическое самоуправство; они желали коренного изменения всего государственного строя и возрождения страны по мысли Чарторыйских и Конарского. Они имели смелость взяться за эту гигантскую задачу, превышающую их силы, но манившую и обольщавшую их блестящими перспективами.

Тот, кто позволяет себе увлечься такой реформаторской идеей, часто оказывается настолько ослепленным ею, что теряет способность считаться со средствами и не желает видеть ничего, что затемняет ему его цель... Так было с Чарторыйскими – обаяние великой идеи заставило их не считаться с возможностью выполнения ее.

В планы реформ, по необходимости, должно было войти и сокращение власти гетманов, этих посредников *intra libertatem et majestatem*. Князь канцлер, увлеченный идеей образования новых форм политической жизни, был мечтатель, как каждый доктринер, а потому должен был быть деспотичным. Его раздражало все, что становилось у него на пути.

Для снискания расположения старого гетмана отдали ему в жертву прелестную племянницу – но расчет на его слабость не удался.

В оправдание князя-канцлера следует прибавить, что правление саксонской династии и зрелище деморализации и упадка страны – могли внушить самые смелые планы на будущее. Ведь дело шло о жизни и смерти! Много можно простить тому, кто спасает утопающего.

Чарторыйские ясно видели положение государства; но гетман Браницкий не имел ни остроты их ума, ни их смелости и решительности в проведении самых смелых и радикальных преобразований. По его понятию, Речь Посполитая, в которой так долго царствовала анархия,

не могла быть долговечною... Саксонская династия, которая для Чарторыйского была гибелью для страны, являлась в глазах Браницкого защитой и щитом для нее.

Таким образом, антагонизм между Браницким и Чарторыйским был неизбежен, и ничто не могло его устранить. Близко зная характеры обоих, легко можно было предвидеть и окончательную развязку.

Великолепная, прекрасная, обаятельная личность Браницкого имела в себе что-то общее с теми героями, которые от рождения предназначены к гибели и никогда не выходят победителями. Это был мечтатель, любивший жить и блистать в свете, собирать дань поклонения и пользоваться готовыми формами жизни, но не способный создать что-нибудь новое...

В нем соединялись две, а может быть, и три совершенно различные натуры и различные характеры, выступавшие поочередно под влиянием невидимого давления на какие-то тайные пружины, приводившие их в движение. В нем жили одновременно польский магнат и шляхтич, французский царедворец и рыцарь... В торжественные дни в нем оживал потомок старого рода, гетман, пан краковский, кавалер Золотого Руна, магнат, перед которым все должно было склоняться; в кругу добрых приятелей он становился простосердечным шляхтичем, а когда приезжали французы, и он устраивал им пиры, можно было поклясться, что он родился над Секваной.

Как политик, гетман держался довольно туманных идей, издали представлявшихся грандиозными и блестящими; легко верил в то, что было приятно для него самого, и охотно позволял увлекать себя красивыми речами...

А в конце концов – кто знает? – быть может, он был скорее вынужден обстоятельствами играть политическую роль, чем выступать активным деятелем. Вокруг гетмана сплотилось все, что ненавидело Чарторыйских или боялось их. И гетман, подстрекаемый с разных сторон, разжигаемый и натравливаемый, волей-неволей выступал в главной роли, не соответствовавшей его силам.

Все, видевшие его в ту пору в Белостоке, могли подтвердить, что он без особенной охоты исполнял навязанную ему роль...

Будучи уже пожилым человеком, гетман недолюбливал серьезные занятия и предпочитал им легкую, остроумную, веселую беседу в хорошем тоне, тщательно избегавшую всяких неприятных намеков на его семейные размолвки. Его сан требовал от него занятия предметами государственной важности, но это бремя он свалил в значительной степени на Мація Стаженьского, старосту Браньского, на своих приятелей и на друга дома, Мокроновского. Жизнь в доме гетмана шла с королевскою пышностью. У гетманши был свой двор, свой круг знакомых и друзей, а с мужем ее соединяли официально-дружеские и добрые отношения; но все знали, что давно уже угасла любовь старика к красавице жене, и что Мокроновский был доверенным другом и любимцем графини Изабеллы. Гетман ничего не имел против этого; он требовал только соблюдения известных форм – и невмешательства "фамилии" в свои планы. У него были тоже свои не серьезные увлечения, которые были известны всем, даже его жене, но возбуждали скорее соблазнение, чем другое чувство.

Никто здесь не говорил прямо и открыто того, что думал, в парадных комнатах встречали друг друга приветливыми улыбками, а по углам перешептывались и интриговали; приличие заставляло на многое закрывать глаза и о некоторых вещах говорить только намеками или острыми словечками...

Староста Браньский, Радзивиллы, некоторые члены рода Сапег и Потоцкие всяческими способами старались воздействовать на гетмана, который уже не так легко поддавался увлечениям.

У возраст, и воспитание, и самый характер Браницкого заставляли его относиться, если не с полной холодностью, то с достаточным равнодушием ко многим даже очень важным вопросам; он смотрел на разрешение их свысока, по-барски, с рыцарским стоицизмом.

Однако, в тех случаях, где было задето его личное самолюбие, можно еще было разогреть соответствующим способом остывшую кровь гетмана. Антагонизм Чарторыйских казался ему дерзостью.

В маленьком кабинете нижнего помещения дворца, называвшегося Лазенками, где собирались по вечерам самые близкие приятели, раздавались угрозы по адресу фамилии; в салоне о них старались не говорить и не вспоминать.

Приближался день св. Яна, когда обычно в Белосток наезжало множество гостей; и гетману, собиравшемуся выступить в качестве монарха, было о чем подумать и привести в ясность... Немалый труд ожидал магната, не любившего серьезной работы.

Гости привозили с собой пожелания всего лучшего, поклонение, целый запас любезных и сладких слов, но, кроме того, здесь многие из них запаслись различными планами, проектами, просьбами о протекции и посредничестве и т.д. Гетман хорошо знал, какое бремя упадет на его плечи...

И, может быть, для того, чтобы уйти от неприятных впечатлений, он охотно искал развлечения в разговоре о самых легкомысленных вещах – чаще всего о прекрасных дамах и даже о субретках.

Такие разговоры, происходившие в мужской компании, приводили его даже в веселое настроение; он бывал очень оживлен за обедом, но, оставшись наедине с самим собою или с домашними, тотчас же становился молчаливым и угрюмым.

Уже несколько лет это настроение гетмана тревожило тех, кто лучше других знал его. Тем, кто видел его только в салоне, среди многолюдного и парадного общества, он неизменно казался человеком высшего света, с полным самообладанием относившимся ко всему, что могло с ним случиться в жизни. Печаль и страшное утомление овладевали им всецело только тогда, когда никто из посторонних не мог его видеть.

Он так владел собой и так привык к своей роли, что вместе с парадным платьем к нему возвращался и тот тон высокого представительства, который никогда не изменял ему в салонах.

Утро приносило с собой печаль и тревогу, которые потом разгонялись, как облака солнцем, различными удовольствиями. Постепенно и, как будто нехотя, он приходил в хорошее настроение.

Камердинер его – француз, носивший банальную фамилию Lafleur'a, обыкновенно входил первый в спальню гетмана; за ним наступала очередь доктора Клемента осведомиться о здоровье своего высокого пациента.

И в этот день гетман пил еще в постели свой шоколад, когда с обычной своей усмешкой вошел француз.

Браницкий очень любил его. У него было много приятелей, которым он верил, но ни к кому из них он не испытывал такого доверия, как к доктору. Уже несколько лет Клемент состоял при дворе, а ни разу еще не злоупотребил этим доверием.

При виде входящего доктора, камердинер на цыпочках удалился.

Лицо гетмана показалось в этот день доктору еще более пасмурным, чем всегда. Он подошел к кровати, и гетман, указав ему на кресло, попросил его придвинуться к нему поближе.

Взглянули друг на друга. Браницкий, словно угадав по лицу доктора, что он принес неприятное для него известие, отвернулся.

– Ну, как же? – тихо спросил он.

– Егермейстер умер, – коротко ответил Клемент.

Гетман с испугом взглянул на говорившего.

– Умер! – тихо повторил он.

– Я сделал все, что было в моей власти, – силы истощились, жизнь угасла...

– Что же будет с этой несчастной? – с живым сочувствием заговорил Браницкий. – Я уполномочиваю тебя придти ей на помощь. Ты знаешь, что ни она, ни он не примут помощи от меня; ты...

– Предвидя катастрофу, – отвечал Клемент, – я заставил сына, который как раз подоспел приехать из Варшавы, взять от меня под видом займа сто золотых.

– Пусть кассир вернет тебе их! – воскликнул гетман. – Значит, первые необходимые расходы на похороны будут покрыты, но что же дальше?

– Я ничего не знаю, – тихо отвечал Клемент, – поеду туда сегодня и узнаю все. Насколько я понял из разговора, юноша надеется пристроиться в Варшаве... И я боюсь, как бы его не перетянула к себе фамилия; он что-то упоминал о князе-канцлере...

Лоб гетмана нахмурился, но он не сказал на это ничего и неожиданно спросил:

– А где будут похороны?

Клемент, словно испугавшись этого вопроса, подхватил торопливо:

– Но ведь ваше превосходительство не думает...

Гетман пожал плечами, как бы удивляясь, что он еще сомневается.

– Я хочу знать, где его похоронят, чтобы предупредить ксендзов, что все расходы я беру на себя, и что фамилия не должна знать об этом.

– Это тоже надо сделать осторожно, чтобы вдова не догадалась, – добавил доктор.

– Дорогой мой Клемент! – возразил гетман. – Я вижу, что ты или считаешь меня большим простаком, или боишься, что я уж от старости совсем поглупел.

Доктор хотел было оправдываться, но Браницкий, не давая ему говорить, продолжал:

– Дорогой Клемент, поверь мне, что, если я иногда и кажусь на вид отупевшим, потому что на голове и на плечах у меня лежит слишком тяжелое бремя, то я на самом деле еще не утратил ни чувства наблюдательности, ни память.

– Ах, ваше превосходительство, – прервал доктор.

– Я сделаю все, что должен сделать, и притом самым приличным образом, – со вздохом сказал гетман. – А ты, мой дорогой Клемент, поезжай туда, сделай, что можешь, и привези мне известия о них.

Клемент хотел было оправдываться в том, что он никогда не был дурного мнения о гетмане, но вошедший камердинер принес привезенные с эстафетой письма из Варшавы и доложил о прибытии старосты Браньского.

– Здоровье мое не дурно, – тотчас же сказал Браницкий, обращаясь к доктору. – На меня всегда оказывают чудесное влияние весна и тепло.

Он улыбнулся, как будто на прощание; староста Браньский входил уже в комнату.

В продолжение дня все шло обычным порядком. К обеду съехалось несколько новых лиц из провинции, шляхтичей, с которыми гетман весело и свободно разговаривал.

После обеда решено было ехать в Хорошу, но гетманша чувствовала себя не совсем здоровою, а Браницкий изъявил желание совершить эту поездку в небольшой компании и взял с собою одного только полковника Венгерского.

По дороге разговора почти не было; гетман был сумрачен и задумчив, а когда он бывал в таком настроении, никто не решался с ним заговорить. Карета остановилась около летнего дворца, когда Венгерский вышел из нее, гетман велел ему похлопотать об ужине, а сам выразил желание зайти в расположенный поблизости от дворца монастырь доминиканцев. Слугам, которые хотели было сопровождать его, он приказал остаться, а сам медленно направился к доминиканцам.

Здесь о всяком посещении высокого гостя знали, обыкновенно, заранее, и духовенство устраивало ему торжественную встречу. Но на этот раз Браницкий захотел явиться к братии неожиданно; и когда он появился у ворот, и привратник заметил и узнал его, он поднял такой

трезвон, что все монахи повыбегали из своих келий, как будто на пожар. В монастыре поднялась невообразимая суматоха.

Браницкий был уже в коридоре, когда навстречу ему выбежал запыхавшийся, вспотевший настоятель и при виде гетмана в отчаянии всплеснул руками.

– Отец Целестин, – с улыбкой обратился к нему гетман, – я зашел к вам на одну минутку – поговорить об одном деле. Проводите меня в свою келью. Я не отниму у вас много времени...

Так как в это время успела уже сбежаться чуть не вся братия, привлеченная звоном у ворот, то гетмана, старавшегося принять веселый вид, с почетом проводили до помещения настоятеля и здесь оставили их вдвоем. Отец Целестин хотел было усадить гостя на парадное кресло, угостить его чем-нибудь прохладительным от убогих запасов монастыря, но гетман поблагодарил его и, оглянувшись, сказал:

– Я должен сказать вам несколько слов, отец мой. Здесь, в Борку, умер мой давний слуга, егермейстер; я хотел бы устроить ему хорошие похороны. Не знаю уж, чья тут вина, но он за что-то был в обиде на меня. Вдова от меня ничего не примет. Поэтому я и прошу вас теперь же заняться погребением, не считаясь с ними; я плачу за все... Но обо мне ни слова... Настоятель склонил голову в знак послушания.

– Готовы исполнить желание вашего превосходительства теперь, всегда и во веки веков... Духовенство совершит погребение, не входя ни в какие денежные переговоры с семьей покойного, и ксендз-распорядитель займется устройством погребальной процессии.

– Но все это надо сделать поскорее, – прибавил гетман, – а о моем посредничестве...

– Я помню...

Ни слова никому, – сказал настоятель.

Гетман все еще не садился, но чтобы переменить тему разговора, он спросил:

– Ну, как поживает ваш отец Елисей? Что он жив? Здоров?

Вопрос этот был, по-видимому, неприятен настоятелю; он в замешательстве опустил голову и, помолчав, тихо сказал:

– На несчастье наше жив этот несчастный! Жив, хотя, говоря по совести, если бы Бог во славу свою взял его от нас, то это было бы лучше, чем продолжить его жизнь нам на горе.

Настоятель прервал свою речь, помолчал и закончил с грустью:

– Мы были вынуждены отвести ему отдельную келью, запретив выход из нее в костел и проповеди с кафедры.

– Что же, он провинился в чем-нибудь? – спросил Браницкий.

– Нет, это старец богобоязненный и примерной жизни, – ответил настоятель, – его можно бы было поставить в пример младшим, если бы не странные заблуждения, в которые он иногда попадает, и от которых одно спасенье – принудить его к молчанию.

Ксендз Целестин вздохнул.

– Может быть, вам это покажется странным во мне, – нерешительно начал гетман, – если я попрошу вас провести меня к бедному старику? Считите это просто грешным любопытством светского лица.

На лице настоятеля отразилась печаль и сильная растерянность.

– Я не хотел бы, – сказал он, – противиться желанию вашего превосходительства, но...

Такое любопытство, если не грешное, то во всяком случае не скромное. Это – забава, от которой слезы навертываются на глаза, потому что разум человеческий сходит с прямого пути.

– Но ведь он был в полном сознании в последний раз, когда я его видел? – возразил Браницкий.

– Лучше бы он уж не казался таким, чтобы не вводить никого в заблуждение, – заметил настоятель.

– Но один разговор с ним ведь не повредит мне! – настаивал гетман.

– Я совершенно этого не боюсь, – запротестовал доминиканец, – но, может быть, он произведет на вас неприятное впечатление, потому что старик находится в таком состоянии, когда люди не желают и не умеют ни к кому отнестись с почтением. Зачем же вашему превосходительству подвергаться этому?

Браницкий, уже не возражая ничего на эти доводы, пошел к дверям и сказал:

– Впустите меня на минуточку в его келью. Прошу вас об этом.

Отец Целестин, исчерпав все убеждения, последовал за гетманом, лицо его имело недовольное и озабоченное выражение.

Выйдя в коридор, он указал рукою дорогу к келье о. Елисея и молча проводил его до нее. Шепнул только, что хотел бы предупредить старика о посещении такого почетного гостя.

Пройдя еще несколько шагов, они остановились у порога кельи, и настоятель отворил дверь в нее; в глубине маленькой, полутемной кельи гетман различил старого, сгорбленного, совершенно лысого монаха, стоявшего на коленях перед распятием со сложенными руками и молившегося. У ног его лежал череп мертвеца.

Настоятель наклонился к нему и стал что-то шептать, но монах, казалось, не слушал его и не обращал на него внимания; прошло довольно много времени, прежде чем он, склонившись головой до самой земли, медленно поднялся, и гетман увидел перед собою совершенно дряхлого, высохшего, но не от лет, а от жизни монаха в сильно поношенной одежде, который, поглядывая на дверь, искал его взглядом.

Но в этом взгляде не было ни смирения, ни раболепства, которое выказывали по отношению к такому высокому сановнику все, не исключая и духовных лиц; вошедший был в глазах монаха не гетман, а грешник и ближний. Вся фигура этого старца, словно сошедшего с картины, была идеалом аскета, который, живя на свете, не принадлежит свету. Следы добровольного умерщвления тела и небесных восторгов рисовались на его лице, внушая уважение и тревогу, а взгляд его имел в себе такую твердость и силу духа, что ничто не могло ему противиться. Глубоко запавшие, но живые глаза, смотрели ясным взглядом, проникавшим до глубины души и, казалось, видевшим то, что было скрыто для всех. В линии крепко сжатых губ была горечь и большая доброта, вернее, большое сострадание к людям, и печаль, вызванная зрелищем их ошибок и несправедливой жизни. На его лбу, покрытом так же, как и все лицо, мелкими морщинками, лежала печать задумчивости, окутывавшая его, как бы облаком.

Гетман, войдя в комнату, склонил голову перед отцом Елисеем, а настоятель, обеспокоенный предстоящим свиданием и как бы предчувствуя, каким оно будет, поклонился Браницкому и, знаком объяснив ему, что будет поджидать его неподалеку, вышел в коридор.

Отец Елисей долго смотрел на вошедшего, не говоря ни слова; он оглядел его с ног до головы, и еще яснее обозначилось на его лице выражение сострадания.

– Что же, отец, разве ты не узнал своего старого кающегося? – сказал гетман, приближаясь к нему.

Монах пожал плечами.

– Дитя мое, – сказал он, – если бы я сам забыл вас, настоятель напомнил бы мне; поэтому не бойтесь, что я совершил ошибку, не приветствуя вас, как надлежит. Но чего же вы хотите от меня?

Он горько усмехнулся.

– Я жду от вас утешения, отец мой, – сказал гетман.

– Утешения? От меня? – повторил отец Елисей. – Такого утешения, какое вам нужно, я вам дать не могу, а то, что я вам могу дать, не будет для вас утешением!!!

– Дитя мое! – прибавил он, как бы про себя. – Между вами, детьми света, и мною, ушедшим из него, нет ничего общего. Я не понимаю вас, вы –меня! Что мне до вас, и что вам до меня? Утешения, утешения! – говорил он. – А заслужили ли вы его?

Он взглянул на гетмана.

– Я был и остался верным сыном костела, – сказал гетман.

– Да, так это называется, – возразил Елисей. – Раз в год вы ходите к исповеди, а грешите ежечасно, основываете монастыри, строите костелы, но все это для людей, а не для славы Божией; раздаете милостыню, чтобы стоны бедных не прерывали вашего блаженного сна; целуете руки у ксендзов, чтобы они позволяли вам грешить и не осуждали. Ну, что же, может быть, вы и сыны костела, но сыны Бога...

Сомневаюсь...

Гетман сделал невольное движение протеста.

– Но ведь наш костел вместе со своим Главою есть представительство Бога на земле.

Монах улыбнулся.

– И большего от вас требовать не может, – сказал отец Елисей, – иначе вы бы все стали еретиками. Костел никого не принуждает и многое оставляет на разрешение совести, с которой вы входите в компромиссы.

Он вздохнул и помолчал.

– Чего вам нужно от меня? – уже другим тоном сказал он. – Говорите прямо.

Браницкий опустил глаза.

– Отец, – внезапно решаясь заговорил он, – вы умеете читать в людских душах; вы знаете, что я несчастлив; я пришел к вам за советом и утешением. Вы знаете, кто я; все мне завидуют, я достиг высшей власти, есть у меня все: и богатство, и уважение людей, и сила большая, какую только может дать свет...

А здесь (он ударил себя в грудь) – пустота и мука.

Отец Елисей слушал в задумчивости.

– Языка моего не поймете, совета моего не послушаете, жизни своей не будете в состоянии изменить, зачем же попусту бросать слова, которые не принесут никому пользы.

Счастье не там, где вы его искали; вы добились всего, чего желала душа; неужели же вы думаете, что, если теперь будете ударять себя в грудь, дадите денег на монастырь, построите еще костел, а жить будете по-прежнему, то Бог приготовит для вас какое-то особенное счастье и даст его вам, как своему избраннику? Вы думаете, мое дитя, что Бог особенно озабочен судьбой графа Браницкого? Нет – право греха и добродетели одинаково для тебя и для нищего! С тебя только больше спросится, потому что тебе больше дано. То, что тебе кажется твоей привилегией, явится для тебя бременем.

Гетман слушал, не прерывая ни одним словом.

– Отец мой! – сказал он, наконец.

– Не говори ничего, потому что я хорошо знаю, что ты можешь сказать в свою защиту. Вы – не дети Христа, потому что Христос к своим детям предъявляет строгие требования.

– Значит, вы осуждаете меня и не даете никакой надежды? – сказал гетман.

– Я не облечен властью от Бога и никого не осуждаю, – возразил монах. – Бог может простить тебя, потому что ты из тех, которые не ведали, что творили.

– Отец мой! – снова прервал Браницкий. – Вы владеете пророческим даром, это всем известно.

– У меня нет этого дара, – отвечал монах, – но, глядя на поступки людей и оценивая их, я вижу последствия, безразлично, кто бы не совершал их.

Гетман в замешательстве умолк; суровые ответы монаха начали уже раздражать его.

– Вы хотите знать ваше будущее? – с соболезнованием спросил монах. – Бог не без причины скрыл его от вас и от других людей. Вы желаете того, что было бы для вас гибелью, и что сделало бы невыносимую вашу жизнь! Оглянитесь на прошлое и догадаетесь о будущем. Я вам ничего не могу сказать, кроме того, что ваши поступки, это зерна для будущего посева. Господь Бог не сделает для вас исключения, и если вы забросите в душу плевелы, то они не обратятся ради гетмана в пшеницу. Поступки ваши мстят за себя, подумайте об этом!

– На совести моей нет тяжких грехов, – сказал гетман.

– А вы думаете, что множество маленьких грехов менее весят, чем тяжелые?

– Я вижу, что вы сегодня не расположены говорить со мной, – сказал гетман, собираясь уходить, – может быть, другой раз я попаду в более благоприятное время.

Отец Елисей взглянул на него.

– Это обычное человеческое рассуждение! Обычное! У меня нет неприязни к вам, бедный человек, напротив, я очень вас жалею, но мое сожаление ничем не поможет.

– Я знаю, – прибавил он, – вам было бы во сто раз приятнее, если бы я говорил вам не то, что думаю, если бы я сказал вам, что Бог наградит особыми милостями основателя и покровителя стольких монастырей, если бы я прославлял ваши добродетели, курил фимиам вашему тщеславию и как ваш снисходительный исповедник в конфессионале спросил вас: "Чем изволил ясновельможный пан прогневить Бога". Я не могу угощать вас такими речами, и потому отец-настоятель прячет меня в келью, запрещает говорить проповеди с кафедры и выслушивать исповедь кающихся: я больше считаюсь с Богом, чем с ними... К чему же вы пришли сюда? Я могу напоить вас только горечью...

У Браницкого зашевелилось что-то в душе, и на глазах показались слезы.

– Я несчастлив, – сказал он, – а вы меня не жалеете.

– Ошибаетесь, – уже другим тоном возразил монах, – я вас жалею, но бессилён помочь вам. Моя жалость вам не поможет; вы скованы цепями, которые сами на себя надели. А за вами вслед идут ваши дела...

Сам Бог не может отнять у вас ваше прошлое и то, что исполнилось, обратить в несовершенство. Вы желали от жизни наслаждений, он вам их дал; у вас были жены, наложницы, любовницы, а между тем вы уйдете из жизни без потомства, последним в своем роде, пустым колосом! У вас была власть, но она может выскользнуть из ваших рук, потому что вы легкомысленно разделили ее между людьми... Да будет милосердие Божие над тобой!

Гетман стоял с выражением страдания и испуга на лице; это пророчество совсем придавило его.

– Я не уйду из мира бездетным, – возразил он, – вы ошибаетесь, отец. – Нет, я не ошибаюсь, – сказал монах, – у вас могут быть дети по крови, но они не признают вас, а вы – их... И кто знает, не станут ли они по воле Божией врагами собственного отца...

В эту минуту гетман, видимо, вспомнил что-то, потому что вздрогнул всем телом и вдруг бросился к выходу, словно убегая от этих угроз, произнесенных с унижительным состраданием. О. Елисей сделал несколько шагов к нему, протягивая руки.

– Прости мне, дитя мое, – воскликнул он, – я напоил тебя горечью; но чего можно еще ждать от сосуда, полного желчи?

Браницкий торопливо обернулся и, схватив руку монаха, стал молча целовать ее.

– Ищи утешения в самом себе, а не во мне. Бог с тобой, Бог с тобой.

Гетман немного пришел в себя.

– Но разве чистосердечная исповедь, раскаяние в грехах и добрые дела не могут исправить прошлого?

– Они могут перетянуть чашу весов, но тяжести не снимут с них, – возразил отец Елисей. – Не думай только, что твое золото и то, что можно купить на него, будут что-нибудь весить на весах ангелов.

– Нет, только слезы, печаль о содеянных грехах, смирение и покорность...

Вдали послышался звон монастырского колокола, и отец Елисей прервал свою речь.

– Настало время молитвы, – сказал он, – для гетмана я не могу забыть Бога; иди с миром!

Говоря это, он повернулся и медленно со сложенными руками направился к распятию, даже не взглянув на стоявшего у дверей гетмана, который, несколько оправившись от первого впечатления, не спеша вышел из кельи.

В коридоре его поджидал отец Целестин; с первого же взгляда на гетмана он увидел, что разговор был не из приятных. Но настоятель и не ожидал ничего иного и, желая загладить впечатление, заметил сокрушенным тоном:

– Какая жалость, что у такого богобоязненного человека такое замешательство в мыслях! Он страшно несдержан, а иногда с амвона позволяет себе такие выражения, которые могли бы сойти за ересь, и потому-то мы должны были запретить ему проповеди. Один раз он до того увлекся, что сказал своим слушателям в костеле: если надо выбирать между домом и костелом, то лучше уж пропустить обедню, чем отложить кормление голодного. А в другой раз под видом слова Божьего проповедовал такую ересь, что мы перепугались, как бы кара Божья не постигла весь монастырь, если мы еще потерпим такие речи.

Когда ваше превосходительство пожелали видеться с отцом Елисеем, я предвидел, – прибавил настоятель, – что вы рискуете подвергнуться каким-нибудь неприятным увещаниям. Но не стоит принимать к сердцу того, что болтает желчный старик.

– Это святой человек, – коротко возразил гетман.

– Но при своей святости он тем опаснее, – подхватил отец Целестин. – Было бы лучше всего, если бы его перевели куда-нибудь, где говорят на другом языке, там он оказал бы меньше вреда, и я буду просить об этом у генерала ордена.

Браницкий не отвечал ничего и с пасмурным лицом вышел из монастыря, сопровождаемый смиренным настоятелем, который вывел его за монастырскую ограду. И хотели уже свернуть на площадь, но в это время из главных монастырских ворот стали выходить попарно доминиканцы, перед которыми несли черный крест и траурную хоругвь.

Настоятель не сказал Браницкому о том, о чем ему только что сообщили, что к монастырю приближалось бедное погребальное шествие с останками егермейстера из Борка. Впереди шел в черной одежде один только ксендз... Вдали виднелась небольшая группа провожатых, шедших за деревенской телегой с простым гробом, прикрытым покровом; в телегу была впряжена пара черных волов. Среди провожатых была одна женщина под густой черной вуалью – ее вел под руку высокий мужчина. Несколько поодаль медленно шли двое-трое приятелей. Заметив похоронное шествие, к которому торопливо вышли навстречу, чтобы присоединиться к нему, доминиканцы, гетман побледнел, и, не желая быть узнанным, не вышел на площадь, а остался около калитки – отделенный от площади толстой каменной стеной.

Настоятель, уже попрощавшись с гетманом и собиравшийся уходить, заметил, что он остановился, и занял выжидательную позицию в нескольких шагах от него.

Между тем похоронное шествие медленно пересекло площадь и направилось к кладбищу; раздался погребальный звон, в маленьком местечке жители, выбегая из ворот, присоединялись к процессии.

Браницкий, не двигаясь с места, печальным и внимательным взглядом следил за процессией, пока она не скрылась за оградой кладбища.

Он ни на минуту не отрывался от этого печального зрелища, которое произвело на него необычайно сильное впечатление: может быть, потому что он еще сохранил в памяти странные и суровые слова отца Елисея.

В костеле еще звонили, и на кладбище развивались хоругви, когда Браницкий, уже не боясь, что его увидят, поспешил перейти пустую площадь и направился к своему дворцу.

Обеспокоенный его долгим отсутствием полковник Венгерский уже поджидал его. Зная пристрастие гетмана к веселой и легкомысленной болтовне, которою его обычно развлекали, он еще издали приветствовал его и сказал с улыбкой:

– Точно на зло ксендзы вышли встречать ваше превосходительство колокольным звоном и процессией! Как будто бы они, зная о вашем прибытии, не могли отложить своих обрядов! Хороша скоро станет совсем не интересною, если нас будут так принимать.

Браницкий сделал недовольную гримасу.

– Что же ты хочешь, полковник, – возразил он, – везде люди умирают, невозможно же для меня задерживать похороны.

– Нет, извините пожалуйста, – настаивал Венгерский, – главное внимание должно быть обращено на высокопоставленных людей. При первом же свидании с ксендзом я ему это скажу.

Гетман, усевшийся на лавке в садовой беседке и выглядевший задумчивым и рассеянным, вместо того, чтобы похвалить усердие полковника, сказал только:

– Оставь меня, пожалуйста, в покое.

Тогда полковник перевел разговор на скандальную историю Франи Черкасской, камер-юнгферы гетманши, которая согласилась бежать с богатым паном, но и это не развеселило пасмурного магната, который выслушал всю историю с презрительным и равнодушным видом; должно быть эту Франю он знал лучше, чем Венгерский.

В этот день его трудно было развлечь; он отказался от ужина, поел только немного земляники и так просидел молча до прихода доктора Клемента, который только что вернулся с похорон. Увидев его, гетман встал с места и, сделав ему знак, медленно двинулся в глубину сада. Полковник остался на крыльце. Отойдя на некоторое расстояние от дома, Браницкий обратился к доктору:

– Возвращаешься с похорон? – спросил он.

– А вы, ваше превосходительство, совершенно напрасно очутились там сегодня, – с упреком сказал доктор. – Жизнь дает нам и без того достаточно печальных впечатлений, чтобы мы еще сами искали их.

Гетман, не отвечая на эти слова, снова задал вопрос:

– Ну, что же там?

Вопрос этот был бы непонятен для другого, но Клемент понял сразу. – Великая сила духа у этих людей, – сказал он, – жена не проронила ни одной слезы, сын собственными руками уложил его в гроб и осыпал цветами, а потом подвел мать к гробу.

– Что же они думают делать? Мне их сердечно жаль...

– С этой силой духа они, без сомнения, сумеют примириться с судьбой. Юноша любит мать и готов для нее на все...

– И что же, – сказал гетман ироническим тоном, – он намерен работать на этом жалком клочке земли и вложить в него все будущее?

– Я думаю, что нет, – отвечал Клемент, – мать не согласится на это. Разговор оборвался. Гетман, стоя над прудом, загляделся на воду.

– Прошу тебя, дорогой Клемент, придумай средство, как бы помочь им, не открывая источника помощи. Если неудобно выступить тебе, то найди кого-нибудь, кому ты мог бы доверить это дело.

У егермейстера было много приятелей, потому что это был человек добрый и с большим характером. Ко дню св. Яна здесь соберется множество народа – выбери кого-нибудь, кому ты мог бы доверить это дело.

– Эта роль подошла бы лучше всего старому Кежгайле, – сказал доктор. – С этим сумасшедшим гордецом нельзя иметь никакого дела, – прервал гетман, – ты должен выбрать кого-нибудь другого.

– Брат покойного тоже мало принесет пользы, – сказал Клемент.

Гетман пренебрежительно махнул рукой.

Вдали показался полковник Венгерский с каким-то другим мужчиной в мундире; гетман, увидев их, вздохнул и, обращаясь к доктору, ворчливо пробормотал:

– И здесь не дают мне покоя. Несносные приставалы!

Но, окончив эту фразу, гетман, привыкший к своей роли высокого сановника, придал своему красивому лицу спокойное выражение, гордо выпрямил стан и с улыбкой ожидал приближения гостя, которого он назвал приставалой, готовясь встретить его как можно любезнее.

В этот вечер в Борках была та же зловеющая тишина, которая царила в усадьбе со времени болезни егермейстера. На короткое время она была прервана молитвами ксендзов и рыданиями слуг; но теперь она вернулась снова, еще более страшная, потому что за ней уже не было ни одной искры надежды...

Клемент не преувеличил ничего, рассказывая гетману о силе духа, проявленном вдовой. Горе привело ее в состояние оцепенения, но глаза ее не проронили слез.

Вернувшись с сыном из Хороши, она села рядом с ним на крыльцо, где так часто раньше сживала вместе с мужем, думая и разговаривая о Теодоре; держа в холодных руках руку сына и всматриваясь во мрак наступающей ночи, она молчала.

На небе показались звезды; но мрак стал еще гуще; у Беаты не было сил, чтобы подняться и войти в пустой дом. Несколько раз сын напоминал ей, что холод и роса могут быть вредны для нее; но она, не отвечая, только отрицательно качала головой.

Казалось, в этом долгом молчании она приводила в ясность мысли, которые хотела пове­рить сыну.

Слуги ждали, обеспокоенные тем, что господа еще не ложатся спать, и не решались идти раньше них.

Старая ключница несколько раз подходила к пани и напоминала ей, что уже поздно, и пора уходить с крыльца в дом. Но вдове, вероятно, было легче дышать на открытом воздухе.

Около полуночи она глубоко вздохнула, пошевелилась и, снова схватив руку сына, кото­рую она в забывчивости выпустила из своих холодных рук, обратилась к Теодору:

– Тот, кто один на свете любил нас обоих, ради этой любви ушел в могилу! Да! Этот луч­ший, благороднейший из людей, замучил себя работой для нас. Только я одна знала, сколько в нем было самопожертвования и тихого героизма! Даже ты не можешь оценить его так, как я.

– Ах, дорогая матушка, ведь и я любил его не меньше, чем ты! – воскликнул Теодор.

– Но ты не мог знать его так, как я, – прервала мать, – ты не мог знать этого мученика и святого человека. Теперь моя очередь принять на себя завещанное им и работать...

– Прошу извинения, матушка, – сказал юноша, целуя руку матери, – очередь не за тобой, а за мной. Вы оба несли тяжесть, которой я даже не чувствовал и даже не понимал, что она лежит на ваших плечах.

– Слушай меня и не прерывай, – повелительно сказала мать... – От бремени никто не избавлен, нам надо только справедливо поделиться между собой. У тебя тоже будут свои заботы... Я – твоя мать и опекунша, и я должна подумать о твоей судьбе...

Ты говорил мне о ксендзе Конарском и о князе канцлере; не следует отказываться от предложения; ты должен скоро вернуться в Варшаву, завязать знакомства, и все силы употре­бить на то, чтобы подняться как можно выше.

– У меня нет честолюбия, – возразил Теодор.

– Ты должен иметь его, если не для себя, то для меня, – живо подхватила мать. – Моя семья отшатнулась от меня, отец от меня отрекся (тут рыдания прервали ее речь); и я хочу, чтобы ты собственными силами поднялся так высоко, чтоб и меня поднять вместе с собой...

Я вымолю у Бога успех; у тебя есть способности, тебе нужна только воля, какую я хотела бы вдохнуть в тебя. Ты будешь работать не для себя, а для меня – и выведешь меня из этой бездны отвержения.

Она встала и закончила тоном все возрастающего воодушевления.

– Это была воля покойного, а также и моя, и теперь это должно быть твоим предназна­чением...

– Ах, дорогая моя матушка, – ломая руки, отвечал юноша, – ты возлагаешь на мои плечи тяжелое бремя, хотя и не то, которое я себе сам выбрал. Но там я знал, что справлюсь, а здесь – я не в силах один снести его...

Где же силы? Где оружие? Рядом с людьми, которые вырастают в силе и влиянии, я чувствую себя маленьким и слабым. То, чего ты от меня желаешь, требует не только талантов, но и силы духа и железной воли, которой у меня мало.

– Любовь ко мне даст тебе ее, – воскликнула мать.

Теодор почти в испуге склонил голову.

– Это выше моих сил, матушка, – отвечал он. – В продолжение всех этих лет, которые я провел в Варшаве, я, хотя и находился в стенах монастыря, куда меня приняли неизвестно по чьей милости...

– Милости? – прервала мать. – Да это вовсе не была милость; видели твои способности и оценили их!

– Во время моего пребывания в нем, – продолжал Теодор, – хотя я и был вдали от света, который является ареной для честолюбивых, я все же немало разных вещей наслушался о нем, а иной раз передо мной вдруг поднимался уголок занавеси, закрывавшей сцену; я уже знаю о нем кое-что, знаю, какими способами и усилиями люди добиваются власти и значения... Теми путями, которыми взбираются в гору, ты сама не позволила бы идти своему сыну. Величие это покупается дорогой ценой...

– Ты ошибаешься, – прервала его егермейстерша, – путь к вершине славы не один. Тот, который ты видел и который показался тебе омерзительным, ведет в гору тех, что потом скатываются с нее в бездну...

Рано или поздно презрение людей свергнет их оттуда... Но есть другой путь – путь труда и применения своих способностей, и этим можно всего добиться.

– У нас? Теперь? – возразил Теодор.

Мать, услышав этот вопрос, так вся и насторожилась.

– Дитя мое, – воскликнула она, – чего же ты там насмотрелся? Где видел зло?

– Если бы я закрыл глаза, то и тогда увидел бы его, – отвечал Теодор. – Достаточно мне было послушать моего учителя, который особенно благоволил ко мне, ксендза Конарского...

– Но именно этот твой учитель, – возразила мать, – принадлежит к числу тех, которые несут лекарство против зла.

– Но еще не могли найти его, – сказал Тодя. – Зло росло слишком долго и слишком глубокие пустило корни; люди питались им и отравились. Все стало продажным, загрязнилось и испортилось...

– Но именно там, где так много зла, и является большая потребность в исправлении его, честный человек имеет огромную цену, – сказала егермейстерша. – К сожалению, я знаю этот свет лучше тебя.

Испорченность дошла там до крайности; но уже пробуждается стремление к чему-то лучшему. Конарский рекомендовал тебя Чарторыйским – иди же, иди! Теодор молчал.

– Дорогая матушка, у нас еще будет время поговорить об этом, – проговорил он наконец, – а теперь не пойти ли тебе отдохнуть?

– Мне? Отдохнуть? – со страдальческой улыбкой отвечала она. – Иди ты, если тебе нужен отдых, а я отдохну только тогда, когда истощатся все силы и я упаду от усталости – тогда и отдохну, а теперь...

Она пожала плечами и села на лавку. Теодор задумался о том, о чем они сейчас говорили.

– Разве ты хотела бы, – сказал он, подумав, – чтобы я оставил тебя здесь одну со всеми заботами и хлопотами бедного маленького хозяйства?

– А что же иное я могу делать? – спросила егермейстерша.

– Но уж, наверное, не это, – сказа Теодор. – Покойный отец не позволял тебе заниматься этим; и я не позволю...

– Я – твоя мать, – сказала Беата. – У меня есть своя воля, и я не позволю тебе противиться ей. И притом должна тебе сказать, что из великой любви ко мне ты рассуждаешь неправильно.

Это жалкое хозяйство оторвет меня от моего горя, направит мысли мои на другое, утомит меня, и это уже будет для меня благодеянием.

Я не позволю тебе закопать себя в деревне, в этом убогом Борке.

Теодор подумал немного.

– Ну, так послушай же и ты меня, – сказал он, – может быть, и я не всегда рассуждаю неправильно. Может быть, нам удастся согласовать твои требования с моими опасениями за тебя...

– Каким же образом?

– Послушай, – сказал Теодор. – Отец имел что-то против гетмана...

Он взглянул на мать, которая сжала губы, и лицо ее приняло суровое выражение.

– Гетман сохранил расположение к отцу. И, наверное, охотно возьмет меня к себе на службу. Из Белостока я смогу хоть каждый день приезжать к моей дорогой матушке и таким образом, работая для будущего, буду заботиться и о тебе.

Пока он говорил это, нахмурившееся лицо Беаты так меняло выражение, что он встревожился и умолк.

Видно было, что Беата боролась с собою; всячески сдерживала готовый вспыхнуть гнев или какое-то другое чувство.

Теодор, не давая ей заговорить, прибавил:

– Все хвалят гетмана, говорят, что это магнат из магнатов, щедрый, благородный, добрый...

– Да! Да! – с горечью возразила егермейстерша. – Добрый, щедрый, благородный, бывают минуты, когда он увлекает людей, искусно обманывая их несбыточными надеждами – и пользуется их доверием.

Но на все эти его добрые качества и на его великодушное сердце совершенно нельзя рассчитывать.

Это комедиант большого света; я даже не знаю, чувствует ли он сам, когда он играет, и когда бывает самим собой; никто теперь не разгадает этой загадки. Он умеет быть великодушным и беспощадно жестоким, искренним и лживым; ни одна минута его жизни не имеет связи с другою, в ней нет никакого порядка, а совесть его не знает угрызений. Он пресыщен и утомлен жизнью, все ему надоело; переходя от добра ко злу, он стал существом, которым, как игрушкой, забавляются те, которые ему же отвешивают поклоны...

В моих глазах он хуже последнего из людей; тот, по крайней мере, не носит личины, и от него можно убежать, как от ядовитого растения; он же не умеет быть ни злым, ни добрым – и достоин только презрения, – закончила егермейстерша.

Теодор, пораженный этими словами, и, как бы не желая верить им, воскликнул:

– Матушка, неужели гетман таков?

– Да, все это так, – отвечала Беата, – другие пусть кланяются, угождают ему, но я не хочу, чтобы у тебя было ложное представление о нем. Таким я знаю его, и потому я не допущу, чтобы ты вдохнул в себя при его дворе эту атмосферу лжи и обмана – испортился и погиб. Сын обязан продолжать дело отца и принять его заветы. Если отец, как ты сам говоришь, имел что-то против него, ты должен считаться с этим без рассуждений; он избегал гетманского двора, ты должен следовать его примеру.

Теодор не сумел ответить на это, он только чувствовал, что мать была права; егермейстерша взглянула на сына и продолжала более спокойным тоном: – Возможно, что гетман, исполненный тщеславия и не терпящий, чтобы кто-нибудь держался от него в стороне, захочет при посредстве своих доверенных придти к нам на помощь и навязать нам какое-нибудь благодеяние – мы не можем принять его! Ни я, ни ты.

Она кинула быстрый взгляд на сына, словно желая прочесть в его душе; но не нашла в ней ничего, кроме слепого послушания.

Теодор молчал, решив уступить ей во всем, а мать села подле него, подперев руками голову.

Прошло довольно много времени, прежде чем Теодор заговорил.

– Не могу ли я узнать, в чем же провинился гетман перед вами с отцом? Отец никогда не хотел говорить со мною об этом. Пока я был ребенком, и пока он был жив, я мог оставаться в неведении, но теперь...

На лице егермейстерши отразилось сильное волнение, но она овладела собой и сказала:

– Отец унес эту тайну с собой в могилу и, если он так поступил, значит, у него были свои основания, которых мы не должны доискиваться! Не спрашивай меня! С твоей стороны будет гораздо большей заслугой, если ты будешь слепо доверять и повиноваться мне.

И, говоря это, она охватила руками его голову и со слезами начала целовать его.

– Дитя мое милое, – сказала она, – будущее в твоих руках – оставь нам прошлое; два бремени лягут на твои плечи, и я не знаю, которое из них тяжелее: останься там, где ты был, и будь мне послушен!

Теодор, взяв ее руки, прижался к ним губами и замолчал.

Разговор этот занял большую часть ночи. Наконец силы женщины истощились, она позволила проводить себя в дом, и там, упав на кушетку, погрузилась в состояние полубоддрствования, полусна; тело жаждало отдыха, но нервное возбуждение и душевное страдание отгоняли сон. Сын и служанка не оставляли ее до утра. Бесконечно долго тянулась весенняя ночь; но настало утро, а с ним – успокоение и сон.

Теодор не смел послать за доктором Клементом, но надеялся, что он сдержит свое обещание и приедет сам. Однако, только после полудня, уже ближе к вечеру, послышался стук знакомой каретки, подъезжавшей к самому крыльцу усадьбы.

Егермейстерша должна была лечь в постель, и юноша один вышел к доктору. Внимательный Клемент, узнав о состоянии здоровья Беаты, тотчас же поспешил к ней. Тут ему нечего было делать – опасности никакой не было, а утомление, упадок сил и печаль лучше всего излечиваются временем.

Посидев немного около егермейстерши, доктор сделал знак Теодору, что не следует утомлять ее разговором, и вышел вместе с юношей в сад.

Из всех прежних знакомых и приятелей семьи егермейстера, Клемент был известен, как самый верный друг, от которого не было тайн.

Добрый француз с чувством отеческой нежности взял юношу под руку и начал утешать и ободрять его, видя, что он совсем упал духом и запечалился.

– Ты молод и должен владеть собою, – сказал он, – печаль о том, что совершилось, и чего нельзя поправить, только напрасно истощает силы человека... У тебя есть мать, о которой ты должен думать, и – будущее открыто перед тобой...

– Я и думаю о матери, – возразил Толя, – о себе думать – не время, но к чему эти размышления, когда все пути для меня закрыты?

Доктор стал расспрашивать, и Толя передал ему весь свой разговор с матерью, не скрыв и того, что ему было запрещено обращаться к гетману или к деду, и что мать требовала от него, чтобы он, не заботясь о ней, возвращался поскорее в Варшаву и поступил на службу фамилии.

– Что касается твоей матери, то ты можешь о ней не беспокоиться, – сказал Клемент, – потому что мы, то есть я, будем заботиться о ней; но вот служба у Чарторыйских мне не нравится. Мне было бы приятнее видеть тебя на службе у гетмана...

– Но мать не согласится на это! – сказал Теодор.

– Нужно переждать немного, – шепнул доктор, – может быть, нам удастся уговорить ее.

– Я в этом очень сомневаюсь, – закончил сын. – Она предвидела даже то, что совершенно невозможно, именно, что гетман сам захочет перетянуть меня к себе, и она заранее заявила мне, что всякое благодеяние с его стороны для нас неприемлемо.

Клемент взглянул на него, пожал плечами и не сказал ничего.

– Должен тебе признаться, – начал он снова, когда они очутились в глубине сада, – что я, имея на все это свою точку зрения, имел для тебя некоторые проекты. Убеденный в том, что мать со временем смягчится и изменит свое несправедливое отношение к гетману, я предполагал сам отвезти тебя в Белосток и представить нашему пану. Приближается торжество св. Яна, у нас будет множество гостей – в толпе легко можно пройти незамеченным. Вот я и думал, что ты вмешаешься в толпу, потом представишься гетману, и я уверен, что гетман отнесся бы благосклонно к сыну своего прежнего служащего, которого он всегда любил... Кто знает, какие бы вышли из этого последствия?

Теодор, которому понравилась эта мысль, не отвечал ничего, потому что был уверен, что она неисполнима. Воля матери была слишком явно выражена. Доктор не настаивал больше; он в задумчивости прошелся несколько раз по саду, потом взглянул на часы и вместе с Теодором вернулся к егермейстерше. Он сел подле нее на кровати, и, видя, что она не спит, завел разговор на посторонние темы.

Беата жаловалась, что силы оставили ее, как раз тогда, когда они ей всего нужнее.

– Они быстро вернуться, – сказал Клемент, – и я мог бы найти средство, чтобы это случилось в самое непродолжительное время, но для этого надо...

Для этого надо...

– Чего же надо? – спросил сын.

– Чтобы вы, сударь, приехали ко мне сами завтра утром за лекарством, которое я приготовлю, и осторожно, не взболтнув, привели его матери.

– Да я готов хоть сейчас ехать! – воскликнул Теодор.

– Как? Он должен ехать в Белосток! – прервала мать.

– А что такое? Белосток и мой дом зачумлены что ли? Что случится с вашим сыном, если он заглянет в мою усадьбу?

Беата, сдвинув брови, хмуро поглядела на доктора.

– Было бы просто смешно, – прибавил Клемент, – если бы вы запрещали ему даже по своим делам ездить в город только потому, что вы не желаете иметь сношений с гетманским двором.

Егермейстерша слегка покраснела и не решилась возражать, а доктор прибавил добродушным тоном:

– Ну, значит – решено! Я буду ждать завтра, но только его и никого другого. Юноша проедется, рассеется, и это будет ему полезно.

Говоря это, он встал и, избегая возражений со стороны больной, поцеловал ее руку и поскорее ушел. Уже сидя в кабриолете, Клемент еще раз напомнил Теодору, чтобы он сам приехал к нему.

Когда сын вернулся к матери, он должен был выслушивать ее упреки доктору за чудачество и за упрямство, с которым он требовал выполнения своих сумасбродных проектов. На другой день обеспокоенная егермейстерша снова призвала к себе Теодора, готовившегося к отъезду, и стала упрашивать его не задерживаться в городе и у доктора, а поскорее возвращаться, так как она будет бояться за него.

– Никакое лекарство не поправит того, что причинит мне это беспокойство. Ты знаешь, как я ненавижу этот город, самого гетмана и всех тех ничтожных людей, которые его окружают. Только доктор составляет исключение. Бери коня и поезжай, но не задерживайся там и скорее возвращайся.

Повторив ему это несколько раз, мать, наконец, отпустила его. Теодор, выбрав из конюшни лучшего коня, уехал с твердым решением исполнить все, как хотела мать.

Доктор Клемент назначил ему приехать после обеда, так как в это время он был свободнее, и Тодя рассчитал время, чтобы прибыть как раз в назначенный час.

Домик доктора находился подле главных ворот в виде башни, которая образовывала великолепный въезд во дворец гетмана. Домик был окружен садом, к которому примыкал дворцовый парк.

Незаметная тропинка, начинавшаяся за службами, вела к самому гетманскому дворцу. Француз любил комфорт и изящество, и потому небольшой домик, выстроенный для него, принадлежал к числу красивейших во всем Белостокском посаде. Подъехав ближе, Теодор заметил на большом дворе оживление и движение: здесь стояли экипажи гостей, уже начинавших съезжаться на праздненства св. Яна. Около башни и сторожевого поста сновали отдельные группы военных разного рода оружия: тут была венгерская пехота, янычары, гусары.

Подъехав к самому домику, Тодя некоторое время не знал, как ему быть с конем, но в это время из дверей выбежал мальчик-слуга, взял коня и указал гостю, куда идти. Клемент встретил его с улыбкой и провел в свой изящно убранный салон, уставленный цветами и загроможденный множеством безделушек на память от пациентов и в благодарность за выздоровление. Здесь даже в ясный день царствовал полумрак, потому что окна были закрыты цветами и целыми деревьями. Поздоровавшись с гостем, Клемент усадил его.

– Дорогой доктор, – сказал Теодор, – мать велела мне сейчас же возвращаться.

– Но дай же отдохнуть коню и себе, – вскричал Клемент с оттенком нетерпения в голосе. – Выпьешь кофе или это тоже преступление? Но без угощенья я тебя не отпущу; это уж ваш польский обычай...

– Но мать, мать! – прервал Тодя. – Ведь я дал ей слово.

– Без лекарства ведь не вернешься, – почти с гневом вымолвил доктор, – а у меня этого лекарства нет, я еще должен послать за ним. И это лекарство не что иное, как старое венгерское, которое егермейстерша должна будет пить по рюмке в день. Только не взболтай его по дороге. Пока его принесут мне из гетманских погребов, ты успеешь отдохнуть, и конь твой тоже.

Сказав это, доктор вышел и, шепнув что-то на ухо слуге, вернулся к гостю с повеселевшим лицом.

В шкафу нашлась уже начатая бутылка. Клемент налил вина в рюмки и почти силой заставил Теодора выпить.

– Выпей, ведь и тебе необходимо подкрепиться после всех этих огорчений, которые тебе пришлось вынести.

Потом он спросил его о здоровье матери, заговорил о себе и, стараясь развлечь пасмурного юношу, рассказал ему несколько анекдотов, ходивших по городу.

Теодор слушал, едва понимая, что ему говорят, и все время посматривал в окно и на дверь, не возвращается ли посланный; прошло более получаса, в сенях послышался шум шагов, двери широко раскрылись, и Теодор увидел входившего в комнату высокого статного уже не молодого мужчину, в котором по лицу и одежде не трудно было узнать гетмана. Юноша смертельно побледнел, не зная, что ему делать, но Клемент живо подскочил к гетману, низко поклонился ему и выразил свое несказанное удивление по поводу его посещения.

– Я три раза посылал за тобою, – ласково сказал гетман, – но что же делать, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе.

Говоря это, Браницкий повернулся в сторону растерявшегося юноши и громко спросил у доктора, кто это.

– Это сын недавно умершего егермейстера Паклевского, – отвечал Клемент, – имею честь представить его вашему превосходительству. Покрасневший Теодор поклонился и хотел отойти в сторону.

– Я очень уважал вашего отца, сударь, – сказал гетман. – Это был человек справедливый, высоких душевных качеств, и когда он по какому-то капризу бросил у меня службу, я всегда жалел о нем, потому что никто не мог заменить такого друга, а не слугу.

Гетман медленно прошел к дивану, сел и, внимательно приглядываясь к Теодору, напрасно избегавшему его взгляда, начал расспрашивать его:

– Где же вы, сударь, были все время? Ведь уж, наверное, не сидели при родителях?

Теодор волей-неволей принужден был отвечать; доктор незаметно подталкивал его вперед.

– Я проходил науки у ксендзов пиаров в Варшаве, – сказал он.

– И что же вы, сударь, думаете делать с собой дальше? – продолжал гетман, не спуская глаз с терявшегося все более и более Теодора.

– Пока я еще ничего не решил... Все зависит от воли матери...

Гетман умолк; рука его машинально играла стоявшей перед ним рюмкой, а глаза не отрывались от лица смущенного и растерянного юноши.

– Да, – прибавил он неторопливо, – я очень уважал вашего отца, сударь, и очень жалею о нем. Он был на меня за что-то в обиде, держался вдали от Белостока, я знал об этом, но не хотел принуждать его... Но теперь, когда вы, сударь, остались сиротой, а я хорошо помню все заслуги вашего отца, я прошу вас рассчитывать на меня как на друга...

Теодор поклонился молча, но без преувеличенной почтительности.

– Если вы, сударь, окончили науки у пиаров, то, верно, знаете ксендза Конарского? – спросил гетман.

– Могу похвалиться его расположением ко мне, – отвечал Теодор.

– Это великий государственный муж и разумный человек, – вполголоса заговорил Браницкий, – жаль только, что он увлекся мечтами, хотя и прекрасными, но неисполнимыми в жизни. Это большое несчастье, потому что к большим заслугам присоединяется малая осведомленность о своем обществе. Почтенный капеллан хотел бы сделаться основателем Речи Посполитой, а это совсем не его дело!

Гетман проговорил это, как бы про себя, тоном горечи.

– Не уговаривал ли он вас вступить в число братии? – обратился он к Теодору.

– У меня нет к этому призвания, – коротко отвечал молодой Паклевский. – Это высокое и прекрасное призвание, но не для всех, – говорил гетман. – Ну, а как вы относитесь к рыцарской службе?

Теодор молчал, боясь проговориться о чем-нибудь, что могло бы связать его. Браницкий, не дождавшись ответа, прибавил сам:

– И в канцелярии можно с пользой послужить родине. Почему же нет?

Видя, что юноша молчит, гетман выразительно посмотрел на доктора, тот ответил ему едва заметным наклоном головы, после чего Браницкий медленно поднялся с дивана, словно собираясь уходить, но почему-то медлил и поглядывал на Паклевского, как будто чего-то ожидал от него. Но тот, боясь только одного, как бы не преступить воли матери, упорно молчал.

– Прошу вас, сударь, во всяком случае считать меня своим другом и опекуном, – прибавил гетман, видя молчаливое упорство бедного юноши. Проговорив это, он еще раз взглянул на него и медленным шагом, сопровождаемый доктором Клементом, вышел из дома и пошел по тропинке, которая вела к самому дворцу.

Когда француз, проводив его, вернулся к покинутому им в салоне Теодору, он нашел юношу еще под впечатлением этого свидания, которое, по-видимому, больше растревожило, чем обрадовало его.

Доктор, напротив, вернулся в самом веселом настроении.

– Вот счастливая случайность, – начал он, входя, – она может принести вам, сударь, больше пользы, чем все старания. Гетман говорил мне, что вы понравились ему, как своими манерами, так и своей скромностью...

– Умоляю вас, доктор, – прервал его Теодор, – об этом счастливом или несчастном случае не говорите моей матери... Она бы могла заболеть от огорчения, если бы узнала...

Клемент пожал плечами.

– Всякий другой на твоём месте воспользовался бы этим! – прибавил он вполголоса.

– Но я не распоряжаюсь сам собой!

Француз прошелся взад и вперед по комнате, засунув руки под полы фрака, с несколько кислым видом.

– Мать ждет меня и беспокоится, – тихо проговорил Теодор.

– Ну, так и поезжай с Богом, – сердито ответил доктор и, принеся откуда-то из глубины дома бутылку старого венгерского, осторожно завернул ее в бумагу, отдал юноше, напомнил еще раз, что ее надо положить за пазуху и везти, как можно осторожнее.

Получив лекарство, Теодор поспешил к своему коню и вырвался из Белостока с чувством какой-то совершенной им вины; хотя не было никакой возможности предупредить то, что случилось.

Только в пути он несколько успокоился; гетман, во взгляде и речах которого было много доброты и предупредительности, произвел на него совершенно иное впечатление, чем то, к какому он был подготовлен рассказами матери. Он не чувствовал в нем неискренности и искусственности; а его добрые слова об отце и высокое великодушие, прощавшее прошлые обиды, тронули его до глубины сердца. И ему было жаль терять то, что могло бы дать ему расположение Браницкого.

Погруженный в мечты и бережно храня вино, спрятанное на груди, ехал Теодор домой, заранее придумывая объяснения своего опоздания перед матерью; но вдруг на дороге, ведущей в Хорошу, он увидел огромный тарантас в шесть коней, с которым, по-видимому, что-то случилось, потому что он лежал на боку на земле, а около него суетились люди; тут же стояли две дамы в кринолинах и светлых платьях с локонами на голове, склонившись над третьей дамой, которая лежала на траве, как будто в обморочном состоянии. Теодору невозможно было проехать незамеченным мимо сломанного тарантаса. Сначала он подумал было свернуть с дороги и объехать полем, но потом ему показалось неловким избегать встречи с людьми, которые могли нуждаться в его помощи. А, может быть, и юношеское любопытство заставило его подъехать поближе к этим кринолинам в локонах.

Сдерживая коня, он начал медленно приближаться к ним, внимательно присматриваясь к этим путешественницам, вынужденным ждать на проезжей дороге чьей-нибудь помощи.

И экипаж, и кони, очевидно, принадлежали людям состоятельным, заботившимся о пышности выезда.

У тарантаса была сломана ось, и он лежал на боку на земле. Кучер и фореитор стояли подле коней, еще один слуга доставал что-то из глубины перевернутого тарантаса. До слуха Теодора долетали пискливые женские голоса. Несколько раскрытых коробов лежали на земле.

Паклевский не мог рассмотреть лежавшую на земле даму, потому что ее заслоняли две другие, суетившиеся подле нее.

Обе они были еще не стары, а та, что помоложе – поражала с первого взгляда своей необыкновенной красотой. Это был нежный цветок, а причудливый наряд сидел на ней так, как будто бы она в нем и родилась. Ее маленькая, изящная фигурка, с головкой, украшенной светлыми локонами, уложенными в изысканную прическу, в кружевах, в шелковом, переливавшемся всеми цветами платье, затканном веселыми букетами, в туфельках на высоких каблуках, которые еще более уменьшали ее и без того крошечную ножку, имела в себе что-то такое неотразимо привлекательное, что невозможно было оторвать от нее взгляда. Несмотря на катастрофу в открытом поле на проезжей дороге, несмотря на обморок спутницы, это жизнерадостное юное создание бегало, прыгало, хлопало в ладоши, кружилось, как птичка, и, казалось веселилось от души и забавлялось создавшимся положением. Кругленькое, розовое, пухлое

личико девушки, напоминало изображение ангелов, которыми украшали в то время потолки; на этом милом личике сияли васильковые глаза, а когда розовые губки раскрывались улыбкой, то на щечках выделялись две ямочки, как будто предназначенные для поцелуев. И вся она была такая беленькая и нежная, как будто и воздух, и солнце не касались ее лица.

Рядом с этим игрушечным созданием стояла высокая, довольно полная дама, лет тридцати с небольшим, очень красивая и очень нарядная, с мушками на продолговатом лице, с черными глазами, волосами и бровями, в платье с воланами, подхватами, кокардами, шнурками, очень сильно декольтированная, что было ей к лицу и, склоняясь над лежавшей на земле, старалась успокоить ее и привести в чувство.

У дамы, лежавшей на земле, была под головой подушка, взятая из тарантаса, прическа ее была растрепана, лицо бледно, и глаза закрыты. Первое впечатление испуга при падении уже прошло, и она начинала успокаиваться, но время от времени ее сжатый рот издавал пискливый крик, и тогда желтые, худые и некрасивые руки ее конвульсивно подергивались. При каждом таком припадке старшая из женщин, стоявшая над нею, старалась уговорить и успокоить ее.

– *Chere*, старостина! – воскликнула она. – Не надо же так волноваться. С тобой может сделаться истерика.

– А, а! *Cest plus fort que moi!** – говорила лежавшая дама.

– Да ведь никто из людей и из нас не пострадал...

– Примите, тетя, бровные капли, они всегда вас успокаивают! – вступила в разговор хорошенькая паненка.

Но лежавшая, не обращая внимания на все уговоры и успокоения, не переставала издавать спазматические крики.

Как раз в эту минуту дамы, занятые старостиной, заметили подъезжавшего Теодора. Он был еще настолько далеко, что не мог их слышать. Дама-брюнетка первая смерила взглядом знатока приближавшегося юношу, и так как паклевский был, действительно, на редкость красив собою, то она не могла удержаться от негромкого восклицания:

– Но какой прелестный юноша! Какой прелестный!

Розовая мордочка с любопытством повернулась, и Теодор увидел устремленные на него с детской смелостью голубые глазки, но что всего удивительнее, – лежавшая в обмороке старостина подняла голову и принялась торопливо оправлять рассыпавшиеся волосы, совершенно забыв о спазмах. Зажмуренные глаза ее раскрылись и вместе с другими обратились на Антиноя, который, заметив устремленные на него любопытные взгляды, страшно смутился и уж хотел подхлестнуть коня, чтобы свернуть и проехать мимо дам, которым он был, по-видимому, не нужен, когда старшая пани, брюнетка, повелительны знаком приказала ему остановиться. Не было никакой возможности противиться воле женщины, очутившейся в подобном положении. Теодор задержал коня и, соскочив с седла, с поклоном приблизился к дамам.

– Пан – местный житель? – спросила брюнетка.

– Я здесь всего несколько дней, – сказал Теодор, – но мои родные живут недалеко отсюда.

Когда он говорил это, все три женщины, совершенно не скрывая своего любопытства, без церемонии приглядывались к нему.

Молоденькая девушка не уступала старшим в смелости и решительности взгляда.

– Ради Бога, – прибавила брюнетка, – достаньте нам кузнеца, каретника, людей и помощь. Полчаса тому назад наш слуга поехал в этот...

В эту... Ну, как это называется? – спросила она, указывая рукою на видневшуюся вдали Хорошу.

– Местечко Хороща, – сказал Тодя.

Старостина, сидевшая на земле, прервала его.

* ЭТО ВЫШЕ МОИХ СИЛ

– Ma foi! Прелестное местечко! И оно еще имеет претензию называться местечком?

Розовый амурчик расхохотался, показывая жемчужные зубки. Смех этот был так заразителен, что даже Теодор, не имевший не малейшей охоты смеяться, взглянув на смеющуюся куколку, не удержался от улыбки.

– Я как раз еду в Хорощу, – сказал он, – и постараюсь прислать оттуда людей!

– Но в Хороще...

А чье это местечко? – спросила старостина.

– Пана гетмана из Белостока, – отвечал Паклевский.

– Но там же должны быть экипажи – пусть вышлют нам!

– Вы, сударь, наверное, состоите при этом дворе, – восклицала старостина, сидевшая на земле.

Но юноше показалось обидным даже самое предположение о том, что он мог принадлежать к этому двору; он покраснел и смело отвечал:

– Я не принадлежу никому, кроме себя, а к этому дворцу не имею никакого отношения!

Брюнетка закивала головой, амурчик зарумянился и растерялся, а старостина приняла гордый вид и сказала недовольным тоном:

– Принадлежите ли вы ко двору или нет, но видя дам из хорошего общества в таком положении, кавалер обязан тем или иным способом помочь им.

Выговор этот смутил Теодора.

– Я к вашим услугам, милостивая государыня, и готов, в чем только могу, услужить вам, – скажу только в свое оправдание, что моя мать больна, и я спешу домой с лекарствами для нее. Кроме того, я недавно только приехал сюда и мало кого знаю. Но я тотчас же поеду в Хорощу и дам знать при дворе...

Тодя собирался уже вскочить на коня, когда старостина, следившая за ним, не спуская глаз, и, может быть, недовольная тем, что он так скоро исчезает, прочитала ему еще наставление:

– Слушай, сударь, и запомни это, что тот, кто имеет счастье встретиться в пути с высокопоставленными дамами и приблизиться к ним, не убегает от них, как от зачумленных, не открыв своего имени. Кто вы, сударь? От кого вы родились?

Этот навязчивый и смешной вопрос, вызвавший у блондинки взрыв заглушенного смеха, совсем смутил бедного Теодора. Он покраснел, как девушка.

– Мое имя мало кому известно, – сказал он, – а для высокопоставленных дам не представляет интереса, – меня зовут Паклевский...

Дамы переглянулись между собой, как бы недоумевая, как мог такой красивый юноша носить такую обыкновенную фамилию.

– Но кто же ваша родительница? – прибавила настойчивая старостина, надеясь найти разгадку породистого вида простого шляхтича в имени его матери.

– Моя мать урожденная Кежгайловна, – отвечал Теодор с оттенком нетерпения.

Услышав это имя старостина всплеснула руками, брюнетка с любопытством склонилась к ней, и обе оживленно заговорили между собой, понизив голос, так что розовая паненка, чтобы услышать их разговор, должна была наклониться к ним, но брюнетка оттолкнула ее.

Бедняжке, поплатившейся так жестоко за свое любопытство, не оставалось ничего иного, как только устремить на красивого юношу васильковые глаза. Он как раз приготавливался сесть на коня, но, встретив этот взгляд, так растерялся, что потерял всякое самообладание, и, стоя на дороге, на глазах у всех, они принялись переглядываться и усмехаться друг другу, забыв обо всем на свете. И только, когда таинственное совещание старших окончилось, и брюнетка, оглянувшись, увидела, что происходит, она дернула куколку за платье. Та же вскрикнула, испуганная и смущенная тем, что ее поймали на месте преступления.

Старостина, раз уже впав в поучительный тон, видимо, желала продолжать в том же духе и не отпускать юношу, пока не научит его правилам приличия.

– Ну, сударь, послушай еще, – заговорила она. – Отрекомендовав себя высокопоставленным дама, ты имеешь право вежливо осведомиться: с кем имею честь? И тогда ты узнал бы, по крайней мере, что я старостина Кутская, а вот эта дама – моя сестра – генеральша, а эта вертушка – ее дочь и моя племянница... А, если бы ты так поехал, ничего не спросив, то и не мог бы даже рассказать, кого встретил случайно на дороге.

На этот раз Теодор не только не разобиделся, но улыбнулся, почтительно поклонился и обвел взглядом всех дам, и когда дошел до амурчика, то взгляд его стал таким пристальным и горячим, что девушка вся зарделась, смутилась, засмеялась и, не обращая внимания на тетю и маму, изящно присела перед ним, кивнув головкой, и как бы говоря: до свиданья на том или ином свете!!

И ничего не было удивительного в том, что Теодор долго не мог попасть ногой в стремя и еще несколько раз оглянулся на амурчика. Получив скромное воспитание, вдали от женского общества, и в первый раз в жизни встретившись с таким ангелочком, он на минуту потерял голову.

Ветреная паненка так пленила его, что он долгое время ничего не видел перед собой: в глазах его так и стояли розовые губки, две ямочки около них, васильковые глаза, и вся кукольная фигура девушки. Наконец ему и самому стало стыдно, что он так поддался впечатлению этой встречи.

Он хотел заехать в Хорощу, чтобы похлопотать об экипаже для старостины и генеральши, но, приблизившись к местечку, убедился, что посланный верховой уже исполнил данное ему поручение и сопровождал экипаж для дам.

Таким образом, Тодя мог, не задерживаясь, ехать прямо в Борок.

В пути ему поневоле пришлось собрать свои мысли, потому что надо же ему было объяснить матери свое опоздание; о гетмане он не смел ей рассказывать и решил скрыть встречу с ним; пришлось все свалить на старостину и генеральшу. Поразило его то обстоятельство, что, когда он вымолвил имя своей матери, обе дамы, словно испугавшись чего-то, принялись перешептываться между собой. Значит, они знали ее имя, по крайней мере, слышали о ней.

Как известно, род Кежгайлов был одним из самых старых и богатых в Литве. Но теперь он считался вымершим.

Отец Беаты, воеводич, носивший раньше другую фамилию, стал называться Кежгайлом, доказывая, что фамилия эта перешла к нему от старшей, уже вымершей линии. Из-за этого была даже тяжба с последним наследником Кежгайлов, но воеводич упрямо стоял на своем. Правда, он уж не был теперь так богат, как его предки, но недостаток богатства он восполнял надменностью и был известен своим чудачеством и сумасбродными выходками. Никому не было охоты спорить с ним, потому что для того, чтобы поставить на своем, он не жалел ни сабли, ни карабина, ни даже собственной жизни, ничего вообще, кроме денег.

Было уже совсем темно, когда Теодор подъехал, наконец, к усадьбе и был очень удивлен, заметив на крыльце свою мать в обществе кого-то постороннего.

Он издали успел разглядеть только чью-то белую одежду и не сразу заметил, что сидевший рядом с матерью гость был старый монах-доминиканец с лысой головой и пожелтевшим лицом. В этом не было ничего удивительного, потому что к ним иногда заезжали ксендзы из Хороши и из Бельска, среди которых у егермейстера Паклевского было много приятелей и знакомых; но этого старца Теодор никогда перед тем не видел.

Мать, увидев сына, пошла к нему навстречу, с беспокойством спрашивая его о том, что с ним случилось, и Теодор тотчас же поспешил оправдаться, свалив всю вину на случай с опрокинувшимся экипажем и на болтливость старостины.

Пока сын с матерью разговаривали между собой, монах, сидевший на крыльце, имел время присмотреться к новоприбывшему. Хозяйка, вспомнив о госте, взяла Теодора за руку и подвела его к старцу, шепча юноше на ухо: отец Елисей – родной брат твоего деда, это святой человек...

Теодор с глубоким смирением подошел к монаху и, склонившись к его руке, поцеловал ее. Тот, растроганный, долго молча смотрел на него, потом обнял его и поцеловал в голову.

– Вот, вот! – громко заговорил он. – Вот каким Бог посылает человека в свет в состоянии невинности – прекрасным, как цвет весенний, и светлым, как херувимы; а что делает из него жизнь! В могилу сходят тряпки и сор! Егермейстерша, очевидно, привыкшая к чудачествам отца Елисея, не удивилась этому восклицанию, вырвавшемуся из его уст; но Теодор, едва понявший, к кому это относилось, был очень изумлен. Старец смотрел на него с восхищением.

– Мать, должно быть, сказала тебе, – прибавил Елисей, – что я вам близкий по крови. Так – по мирским понятиям – но теперь я одинаково близок и одинаково чужд всем людям... Все, что было во мне земного, стерла вот эта одежда; теперь я кающийся, Божий молитвенник – пес Господень (*Domini canis*).

Старец рассмеялся.

– Нельзя же псам, хотя бы и Господним, признаваться в своем кровном родстве с тщеславными светскими людьми. К чему это?

Хозяйка рассеянно слушала.

– Я пришел к вам, потому что долг велит нам утешать огорченных, – сказал старец, – хотя бы я был вам совсем чужой, я должен принести вам слово Божие и стучаться в ваши сердца, пока они не откроются... Мир вам! Мир вам!

– Юноша, – передохнув немного и, подняв глаза на Теодора, сказал старец, – мне хочется услышать твой голос! В голосе выражается душа! Говори! Какую деятельность ты выбрал?

– Дорогой отец, пока никакой! – отвечал Теодор с полным доверием к монаху, в котором чувствовал приязнь к себе, – я учился у пиаров и науки окончил; теперь, что Бог даст, и как судьба сложится? Не знаю сам. Большого выбора нет у меня...

– А что же тебя привлекает? – спросил отец Елисей. – Но только правду мне говори, потому что я все равно отгадаю, хоть бы ты и скрывал.

Теодор взглянул на него таким ясным взглядом, что старец возрадовался и весело воскликнул:

– *Tabula rasa!*

– Ксендз Конарский, – вмешалась мать, – хочет устроить его при канцелярии князя канцлера.

Отец Елисей покачал головой.

– Далеки от меня ваши дворы и владыки, – сказал он, – не знаю я ваших канцлеров... С Богом можно идти всюду, а Бог в сердце...

– Только не ко двору пана гетмана, – резко прервала хозяйка, – туда я не пущу его. – И как бы поняв друг друга, она и монах обменялись взглядами, а отец Елисей прибавил:

– Гетмана нельзя назвать злым, но у него слабая воля; а кто слаб, тем пользуются злые люди, и каждый порыв ветра нагибает того по-своему...

Он снова взглянул на прекрасного юношу и, указав ему место рядом с собою, с глубокой нежностью всматривался в его ясное лицо, словно не мог налюбоваться им вдоволь.

– Дай Боже, чтобы ты, мое дитя, вышел из ожидающей тебя битвы с таким же честным, правдивым, открытым и ничем не затуманенным лицом, какое у тебя теперь. Чистым выходишь ты на арену, и хорошо, если бы ты вернулся, хотя и израненным, но не запачканным.

Ты вступаешь в свет, в котором нет Бога.

Все там говорят о нем, но слово Его мертво для них, и слава бездушна... Они называют это большим светом, а на самом деле это – малый свет, потому что между ними и Богом – ворота закрыты. Все земное там на первом плане, а небесное – на последнем.

Но без борьбы нет победы! Ты должен идти, чтобы получить не хлеб насущный, а вечную пищу для души. Итак, с Богом иди, мое дитя!

Говоря это, старец уже не смотрел ни на Теодора, который внимательно к нему прислушивался, ни на егермейстершу, со слезами на глазах жадно хватавшую его слова, – взор его был устремлен в ясное небо, озаренное закатным сиянием.

Но вдруг, словно вспомнив что-то, он вскочил с лавки и принялся искать палку, которую он где-то поставил.

– Ах, Господи, Боже мой! Вот и солнце зашло, а настоятель, отпуская меня, строго приказал, чтобы я вовремя вернулся, – ведь путь не близкий!! – Но мы не пустим вас пешком, отец, – возразила Беата. – Тодя, беги скорее, вели заложить бричку...

– Мне бы более приличествовало идти пешком, – сказал отец Елисей, –но, правда, ноги у меня слабые.

Теодор был уже около конюшни. Беата подошла и поцеловала старцу руку. – Спасибо тебе, отец, за доброе слово! Оно падет в молодую душу, как здоровое зерно. Так меня заботит его судьба!

– Заботиться надо, – возразил капеллан, – но и тревожиться слишком –не годится. Есть Бог на свете! Он ни для кого не делает исключений, но справедлив ко всем... Что Он приготовил для него, то и следует принять... У юноши по глазам видна чистая душа. Пусть идет в свет...

Он покачал головой.

– Только не на гетманский двор, в эту лужу сироба, в которой мухи тонут и увязают. Пошли его, куда хочешь, только не туда, только не туда!

– Да я и не могу туда! – опустив глаза, разбитым голосом отвечала Беата.

– Доброе дитя колеблется и не решается оставить меня, хочет остаться здесь со мною, а я тревожусь, как бы его у меня не похитили... Ты, отец, знаешь мое сердце и знаешь жизнь – поговори с ним, склони его к тому, чтобы уехать отсюда!

Теодор уже подходил, когда она оканчивала эти слова; отец Елисей стоял в задумчивости.

– Будь послушен матери, – сказал он, обращаясь к Теодору, – сердце материнское, если и не видит, что чувствует и предчувствует, что полезно и спасительно для ее ребенка! Я, верно, уж не увижу тебя, потому что ты вернешься в Варшаву, дай же я благословлю тебя...

Тодя, не смея возражать, склонил голову, и монах сделал над нею знак креста.

Бричка была уже готова к отъезду; Тодя помог старцу взобраться на сиденье, и скоро вечерние тени скрыли из глаз провожавших белую одежду монаха и его черный плащ...

Сыну пришлось теперь подробно объяснить матери причину своего опоздания и описать особ, встреченных им на дороге.

Услышав их имена, Беата покраснела, но не показала виду, что они были ей знакомы. О гетмане и о самом Белостоке она не решилась спрашивать, избегая всякого напоминания о них.

На другой день Беата уже принялась хлопотать по хозяйству, видимо, перемогая себя, но желая показать сыну, что она сумеет со всем сама справиться. А вечером она уже спросила его, когда он думает вернуться в Варшаву?

Теодору не хотелось спешить, чтобы успокоиться относительно здоровья матери, кроме того, он хотел привести в порядок документы и бумаги, оставшиеся после отца. Егермейстерша сказала ему на это, что отец, почувствовав себя слабым, сам привел их в порядок и отдал ей.

Таким образом, отпадал еще один повод к тому, чтобы остаться, да и не хотелось Теодору обнаруживать излишние опасения за здоровье матери.

День отъезда не был еще окончательно намечен, но Беата уже делала приготовления к нему и, несмотря на всю свою любовь к сыну, видимо, желала, чтобы он уехал.

Приближался день св. Яна, торжество именин гетмана, на которые со всего края съезжались гости, среди них были и знакомые, и друзья егермейстера Паклевского еще со времен его службы при дворе, и Беата, не говоря об этом сыну, терзалась боязнью, как бы кто-нибудь из родных или друзей покойного мужа, узнав о его смерти, не вздумал приехать в Борок и смущать Теодора.

Но так и бывает, что то, чего человек боится и что предчувствует, обыкновенно и случается. Так было и теперь. Родной брат егермейстера, служивший в одном из коронных полков, приехал в качестве депутата от своего полка в Белосток. Он ничего не знал о смерти брата, но, услышав об этом из уст самого гетмана, тотчас же отправился в Борок.

И вот, в один прекрасный день перед крыльцом усадьбы появился верхом на статном жеребце пан Гиацинт из Паклева Паклевский.

Братья, похожие друг на друга по внешности, во всем остальном были различны, как небо и земля. Поручик, не имевший за душой ничего, кроме коня и сабли, с юных лет зачислился в войско и был воин с головы до ног, отважный и смелый человек, но ветренный и недалекий. Он любил шумные забавы, был горд и заносчив, первый начинал споры и драки и никому не уступал. Расточительный и легкомысленный, он всегда нуждался в деньгах и всегда был занят мыслью, где бы их перехватить и поскорее, попусту времени не тратя. Сердце у него было доброе, но голова – пустая и упрямая. Услышав в Белостоке о племяннике и не зная, чем занять себя, он вбил себе в голову, что должен устроить его судьбу и затем непременно уговорить его поступить на военную службу.

С тем и поехал. Теодор видел его несколько раз в детстве, а когда около крыльца раздался шум и стук, он вышел к нему навстречу и скорее угадал, чем узнал в приезжем дядю.

Поручик с громким восклицанием и с выражениями нежной любви, со слезами обнял его, оплакивая смерть брата и радуясь тому, что снова увидел Борок.

Торопливо вышла и егермейстерша, догадавшись, кто приехал, и надеясь предупредить всякие попытки приезжего сбивать с толку ее сына.

В первую минуту свиданья поручик шумно оплакивал покойника, попеременно обнимая племянника и целуя руки невестки. Но это продолжалось недолго, наступила нога сапог.

– Голубушка невестка, – воскликнул, отирая слезы, Паклевский, – ради Господа Бога дай ты мне заморить червяка, – я выехал из Белостока на пустой желудок. Жара страшная, а я мчался во весь опор и устал чертовски. На столе живо очутились водка и закуска, и гость, не теряя времени, принялся за еду. Он хотел выпить за здоровье племянника и собирался налить и ему, но тот отказался.

– Это что же? Водки не пьет! Славно, нечего сказать! – сказал поручик. – Что же ты, красная девушка? Что из тебя будет? Хорошо же тебя воспитали! Я в твоём возрасте ничего не боялся, ни водки, ни вина, ни... Мать хотела прервать его, но он поцеловал ее руку и dokonчил:

– Голубушка моя, мы должны сделать из него воина! Ей Богу! Что же ему еще выбирать! Разве это плохая служба – особенно при протекции? Честное слово, если бы я не был таким бездельником, у меня уж была бы собственная деревенька.

– Он готовился к иной карьере, – возразила мать.

– К какой же? Да помилуйте! Может быть, он хотел быть каким-нибудь писакой? Сохрани Боже! В нашем роде все были рыцари. Его покойный отец тоже сначала служил в войске. И, ей Богу, по-моему, только это и есть настоящее дело! Что? Что? Гнить здесь на затоне, ходить за плугом? Что же это за жизнь!

Он взглянул на Теодора, стоявшего около стола.

– Он как будто родился воином! – говорил он, не переставая. – Прелесть, что за юноша! Здоровый, сильный, и неужели он пропадет!

Он наклонился к руке хозяйки и опять поцеловал ее.

– Я для того сюда и приехал, – сказал он. – Ведь я его опекун. Я уже замолвил за него словечко гетману, он обещал протекцию. Стоит только записаться и гуляй душа! Честное слово!

Поручик оглянулся и с удивлением заметил, что лица хозяев были пасмурны.

– Дорогой брат, – серьезно сказала егермейстерша, – позволь же и мне, как самому близкому человеку и опекунке моего сына, иметь свое мнение.

Покойный муж, царство ему небесное, не без причины разорвал с гетманом. – Ну, ну! – крикнул поручик, наливая себе вторую рюмку водки, – позволь уж и мне сказать – правда не грех – у покойного были свои причуды. Что-то там его задело, что-то ему показалось, вот он и надулся – гордая душа в убогом теле – честное слово, он и сам не знал, почему оттолкнул от себя свое счастье.

– Брат мой! – вскричала Беата. – Я его знала хорошо и знаю лучше вас, что все, что он делал, он делал обдуманно и вовсе не опрометчиво. Он не нуждался в милостях гетмана, и я не хочу, чтобы сын мой добивался их. Поручик даже перекрестился.

– Да помилуйте! – вырвалось у него. – Кто мы? Мы? И он? Сударыня! И это мы будем затевать войну с этим могущественнейшим магнатом? И только потому, что покойнику...

Что-то там померещилось? Да знаете ли вы, что гетман может сделать? Что он такое? Он – первый после короля. Без него – ничего нет, а в нем – все... Вы, сударыня, обрекаете своего сына на вечную нужду!

Егермейстерша отвернулась и умолкла.

– Нет, этого не может быть, – говорил взволнованный поручик. – Я лечу, сломя голову, чтобы спасти свою кровь и позаботиться о нем, а тут... – Это была воля покойного, – горячо возразила егермейстерша, – чтобы Теодор никогда ни за чем не обращался к гетману. И его воля свята для меня! Тодя завтра или послезавтра едет и поступит на службу в канцелярию князя канцлера.

Услышав это имя, поручик даже привскочил на месте.

– Ну, это же, ей Богу, комедия, чистая комедия! Да разве ты не знаешь, сударыня, что такое канцлер и русский воевода? Да ведь это же *patriae inimici*, да ведь это же мятежники, которые только того и добиваются, как бы свергнуть с престола Карла и с помощью императрицы посадить на трон кого-нибудь из своих!

Пойти к ним, значит объявить войну гетману, присоединится к числу его врагов!

Вот-то будет для меня радость, когда Паклевский появится среди тех, кого нам, может быть, придется рубить саблями!

Поручик орал во весь голос, по-солдатски, так что голос его разносился по всей усадьбе. Он был страшно взволнован и раздражен. Бледная как мрамор егермейстерша бесстрашно смотрела прямо на него. Теодор стоял подле нее, не смея вмешиваться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.